ЕЛЕНА СЕМЧЕВСКАЯ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ



1969

ЕЛЕНА СЕМЧЕВСКАЯ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ



1969

Склад издания:

Mrs. H. Semchevsky
669 Spruce Avenue. Pacific Grove, California 93950
U. S. A.

Depósito Legal M. 17712 - 1969

Imp. Suc. Vda. de Galo Sáez, Mesón de Paños, 6, Madrid-13

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Только когда манускрипт был готов, я обратилась за советами к уже опытным в этом деле авторам — стоит печатать книжку или нет.

Советы оказались и «за» и «против», причем последних было больше. Гораздо...

— Всегда было рискованно, а уж теперь в наших эмигрантских условиях — безумие, — сказал один скептик, наученный горьким опытом.

— Критики раскритикуют, а читатели будут безмолвствовать, — подхватил другой, наученный таким же опытом, — горели долго, прогорите молниеносно.

— Да. Вы, конечно, знаете поговорку — «попытка не пытка, спрос не беда»...

— Вот потому я и...

— Так готовьтесь к тому, что с вашим сборником произойдет как раз наоборот: попытка будет пыткой, а спрос — ой, беда!..

Выслушав внимательно все советы, я объявила, что мосты сожжены, так как я уже заключила договор с типографией.

— Чего ради тогда вы суетитесь и совещаетесь? — раздался хор возмущенных голосов.

— И почему рассказы, очерки, — кому они, собственно говоря, интересны?

— Все виды литературы хороши, кроме скучного.

— Это вы сейчас выдумали?

— Нет, это Вольтер.

— И почему вы думаете, что они не будут скучны?

— Я... я надеюсь, — пробормотала я и ухватилась за следующий вопрос: — И когда только вы успели книгу написать?

— Некоторые рассказы были напечатаны раньше в газетах и журналах, другие я написала в последнее время — начала я объснять, но была опять прервана целым рядом вопросов и восклицаний:

— Почему? — К чему? — Для чего? Для кого?...

— А вот для кого! — закричала я, торжествующе потрясая в воздухе пачкой заветных писем, — для друзей, знакомых, для незнакомых читателей и читательниц, которых я не встречала никогда, но которые, как видите, не безмолвствовали. Писали. Хвалили. Дружески критиковали. Некоторые просили прислать газеты с теми или другими рассказами, потому что кто-то зачитал их, или просто бумага истлела... Или моль ее съела...

— Что бумагу, нас с вами тоже моль не пощадила, хе-хе...

— Но я не могла исполнить их просьб, потому что у меня самой только клочки и обрывки остались, — продолжала я, игнорируя эту мало приятную, но справедливую реплику, — и вот...

Моя тирада была опять прервана насмешливым замечанием:

— Небось, только хвалебные отзывы сохранили, а ругательные выбросили?

— Таких было не много. Большинство было «за». Вот для кого я и решила издать эту книжку... Так хочется еще раз, может быть, последний, сказать им всем, где бы они ни были, то есть, буквально, во всех местах земного шара:

— Здравствуйте, дорогие друзья!

ПЕРВЫЙ БЛИН — НЕ КОМОМ

Было мне тогда лет 13. Я вернулась домой, очень расстроенная, с кладбища, где была похоронена моя подруга. Вспомнились забытые, поросшие сорной травой могилы, снующие по дорожкам куры, общая запущенность, которая коробила и не вязалась с величавым таинством смерти...

И вдруг пришло в голову — написать об этом в газете, заставить их — (кого «их» я не имела понятия) — привести кладбище в надлежащий вид.

При мысли дерзнуть, попытаться «быть напечатанной» меня бросило и в озноб и в жар.

Долго строчила я, запершись в своей комнате. Писала, рвала, снова писала, изгрызла добрую половину ручки и все ногти на свободной левой руке. Одним словом — муки творчества.

Всю ночь не спала: послать или нет. Утром, идя в гимназию, колебалась перед почтовым ящиком минут 10. Дерзнуть или воздержаться. Наконец, дерзнула. Щелка ящика захлопнулась, поглотив бесповоротно моего первенца.

Наступили мучительные дни ожидания, когда дерзкие мечты сменялись мрачными опасениями, что мое произведение давно покоится на дне редакционной корзины, которую я представляла себе огромной, выше моего роста, соломенной и пузатой.

Тщетно каждое утро разворачивала я тайком от

всех дрожащими руками «Тифлисский листок», ища «ее», не находя и все больше изнывая...

Так прошло две недели. И, когда я уже совсем потеряла надежду, — увидела свою статью.

Вне себя, помчалась стрелой в самый далекий, скрытый от любопытных глаз кустом жасмина, уголок, села, нет, упала на скамью и перечитала плод своего творчества раз сто. За этим упоительным занятием застала меня мама. — Как?! Ты не в гимназии? И с каких пор ты газету читаешь, да еще с таким интересом?

— Ах, с тех пор, как я стала ее сотрудницей, — ответила я небрежно; не выдержала, вскочила, проделала какое-то дикое антраша, обняла маму и все ей рассказала.

Она пришла в ужас от моей скрытности и в восторг от моей статьи — (на то она и мама). Отец, посмеиваясь, сказал: — А ведь право недурно. Сестра, с высоты своих «взрослых» 16 лет брсила слегка завистливо: — Не зрело. По детски. А младший брат выхватил из вазы букет роз и поднес его мне, дурашливо раскланиваясь, — «первые цветы от первого поклонника неожиданного таланта».

В эту минуту я познала сладость хотя и пристрастного, семейного, но все же признания. Зачитанный мной до дыр номер газеты каждую ночь клала под подушку, предварительно перечитав, конечно, не весь, а только одну его часть много, много раз.

Окрыленная успехом, послала в газету еще две вещи. В один прекрасный (поистине прекрасный для меня) день пришло письмо от редактора, приглашающего меня прийти для переговоров. Было что-то и о гонораре, но я не обратила на это внимания. Не до того было. Все мысли сосредоточились на одном: как бы одеться и причесаться так, чтобы выглядеть солиднее, старше «этих возмутительных 13 лет».

Выклянчив у сестры юбку подлиннее, заколола косички «под прическу». Несмотря на палящую жару, надела пальто — «авось редактор не заметит, что я всего гимназистка в форме».

Долго топталась около серого здания. Наконец, обругав себя трусишкой, вошла. Уж не помню, как очутилась перед бородатым, очкастым и, как мне с перепугу показалось, страшно строгим редактором. Чуть не сделала реверанс, вовремя опомнилась, поклонилась всей верхней частью дрожащего туловища.

— Чем могу служить?

— Вы... то есть, я... то есть, вот, я пришла... ваша повестка...

Он взглянул на листок: — Ах, вы пришли по поручению госпожи Беляевой?

— Да, то есть, нет, то есть, я-то и есть госпожа Беляева.

Редактор откинулся на спинку кресла и начал громко смеяться. Я стояла, переминаясь с одного бескаблучного башмака на пуговках сбоку на другой, ненавидя его за этот «беспричинный и даже оскорбительный приступ веселости».

Слава Богу, перестал смеяться, пригласил меня сесть и долго, серьезно говорил со мной, как с «коллегой». Есть данные. Да. Но надо работать — упорно и много. Наблюдать. Не сгущать красок.

Только когда я встала, прощаясь, он, улыбаясь, осведомился: — Скажите, если это не секрет, сколько вам все-таки лет? — Мне? Порядочно. Но только, знаете, я ужасно моложаво выгляжу.

Ушла счастливая, потрясенная, сжимая в потной от волнения руке первые заработанные своим — да еще каким — творческим! — трудом деньги. «Построчный гонорар!» Не помню, сколько. Кажется, пять рублей и еще какие-то гривенники и копейки.

Через некоторое время, снова придя на кладбище, увидела перемены к лучшему. Прибранные могилы, чистые дорожки. «Неужели в результате моей статьи?» подумала горделиво и начала придумывать новые темы для «улучшения общественных порядков».

Резвый задорный петушок подскочил к моим ногам и за ним с длинной и довольно-таки толстой хворостиной подошла жена кладбищенского священника.

— Кыш — сказала она петуху, размахиваясь, —

кыш. Потом ко мне: — Подумайте только, из-за него у нас уже были неприятности. Какая-то наглая особа позволила себе тиснуть в газете про наше кладбище Бог знает что. И грязно, дескать, и запущено, и куры. Кыш! — И вот из-за этой напраслины нам было предупреждение. Теперь приходится тут гоняться. И все это наврано, уверяю вас. Кыш! Ну, что вы на это скажете, а?

Вероятно, о мои щеки можно было в это мгновение зажечь спичку. Я прочистила три с половиной раза горло, прохрипела: — Да, но вот куры то, например, в самом деле шмыгают.

— Это называется — куры! Ха-ха! Всего на всего один петух, да и тот цыпленочный...

Она самым боевым образом замахнулась сначала на петушка, потом в сторону города, где, по ее мнению, находилась «наглая особа». — Попадись она мне... Я бы ей прописала, несмотря на мое духовное звание... Кыш... Кыш!

Я невольно съежилась. И тут в первый раз в жизни убедилась, что в писательской светлой деятельности есть и обратные, так сказать, теневые стороны. Увидела. Содрогнулась. Но не сдалась.

РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Как загнанный, перепуганный зайчишка, прыгая через две ступени, мчалась Аленка по бесконечной гимназической лестнице.

Кругом была жуткая тишина, значит — уроки начались. Все пропало. Она опоздала, да еще вот здесь, в руке под форменным черным фартуком был зажат преступный букет фиалок — первые цветы, полученные ею за все ее бурно прожитые 15 лет.

Как же все это произошло?...

Вышла она из дому, как всегда — с расчетом, несясь легким галопом, появиться в гимназии вовремя...

Но... очаровательная, неповторимая кавказская весна ударила в голову, опьянила, сбила с толку.

Необходимо было полюбоваться свежей зеленью деревьев. Пришлось, прямо-таки пришлось остановиться около витрины магазина с выставленной летней шляпкой с широкими полями, которая бы сразу превратила ее во взрослую, элегантную девушку, не то что бесформенный коричневый горшок, надвинутый на прыгающие, оживленные глаза...

И как-то само собой получилось, что, присев «только на минуту» на скамейку, она размечталась о «нем», о существующем только в ее воображении таинственном красавце — (нечто среднее между Андреем Болконским, Онегиным и Печориным) — который так

влюбится в нее, что забудет о всех своих мучительных сомнениях и тревогах и шепнет — «Я люблю вас. Возьмите всю жизнь мою»...

«Вазми, вазми... та́нцует, танцует», — раздался около самого ее уха голос всем известного тифлисского кинто, продававшего цветы на Головинском проспекте, психолога, всегда знающего к кому и когда подскочить со своим благоухающим товаром.

Аленка очнулась от своих грез, вскочила, сделала строгое лицо.

— Некогда. Я и так опоздала. После уроков...

— Ничего не после, а сичас, сичас... Это не за денги... Это пешкеш.

От маладой человек. И писмо, писмо тут.

— Я не беру подарков от незнакомых, — постаралась Аленка отстранить букет.

— Какой незнакоми! Очен известни паклонник. Бэри, бэри... — Сунул ей в руку букет и убежал.

Дрожащей рукой Аленка расправила листок разлинованной бумаги, которым были обернуты стебли фиалок.

«Я вас люблю. Умоляю вас — не сердитесь и улыбнитесь, когда пройдете мимо меня. Красота бывает жестока... но, все-таки, я надеюсь... Ваш до гроба В.К.».

Вон он, на углу, стоит, — худой высокий гимназист. Аленка пробежала мимо. Хотела, было, сделать строгое неприступное лицо, но ничего не вышло. Румяные губы дрогнули в смущенной, сияющей улыбке...

Принимая ее шляпу, сторож Григорий укоризненно покачал седеющей головой. — Опоздали, барышня. На целых пять минут...

Первый урок русский. Ильинский простит. Он поймет. Он душка. Только бы пробраться мимо начальницы Ольги Николаевны, которая имеет ужасную привычку стоять под образами на площадке между этажами, ловить опоздавших «преступниц».

Так и есть. Стоит. На глубокий реверанс Аленки —

сухой, короткий кивок головы. — «Причина опоздания?»

— Я... у меня зуб разболелся...

— А что у тебя под фартуком? — От холодных, серых глаз ничего не скроется.

— Это... это завтрак...

— Ну, иди. Если еще раз опоздаешь — вызову родителей.

Опять реверанс...

Под градом веселых, сочувствующих взглядов одноклассниц, Аленка добралась до своего места. Отдышалась. Вспомнила о грешном букете и вся похолодела... Его не было. Значит — уронила, пока объяснялась с начальницей. Все пропало. Ольга Николаевна убедится, что она солгала... И, Боже мой, там записка... Да, ее, вероятно выгонят теперь. Несмотря на круглые пятерки и лучшие сочинения.

«Да, вызовут родителей. И выгонят. И то и другое настолько ужасно, что остается одно — броситься в Куру. Утопиться. Мама даже и пилить не будет. Но с таким разочарованием будет смотреть на нее своими большими черными глазами, что дальше некуда... Ужас. Позор. Конец»...

На маленькой перемене классная дама передала ей приказ Ольги Николаевны явиться к ней на большой перемене.

— Что ты, бедовая, — опять напроказила?...

— Не знаю... Только вот опоздала, — хрипло выдавила Алена.

Два часа до большой перемены прошли как в каком-то кошмарном сне. Соня Мириманова, соседка по парте, поглощая, как всегда, бутерброд за бутербродом, сочувственно посматривала на нее. «Боишься»?...

— Ничего подобного. А ты, как корова, все время жуешь... прошипела Аленка.

— А тебе завидно? На, откуси.

— Отстань...

Учитель Снарский что-то говорил о коках, стрептококах, о Пастере и пастеризации. «Что мне Пастер, когда у меня такой ужас и мрак в душе... Конечно,

Ольга Николаевна не захочет, чтобы я осталась в гимназии после того, как я наврала ей. И эти фиалки. И объяснение в любви... Убежать бы куда глаза глядят. В другой город! Но в кармане только пятак на слойку. Далеко не уедешь. Да и мама с ума сойдет... И с подругами расставаться жалко»...

Наконец — большая перемена. Двадцать минут.

— Аленка, идем играть на двор.

— Отстань!

— Ах, да, тебе к начальнице надо, бедняжке.

Приглаживая на ходу непослушные светлые волосы, Аленка побрела к начальнице. Остановилась перед высокой дверью. Сердце вдруг оказалось и в горле и под самым распухшим языком.

Постучала робко. «Войдите».

Ольга Николаевна сидела в кресле, как всегда держась невероятно прямо.

«Говорят — у нее болезнь позвоночника... Оттого она всегда в железном корсете... Оттого она всегда так прямо держится».

Вместо того, чтобы думать, как оправдаться — Аленка ловила себя на всех этих мыслях, прыгающих в голове, как блохи.

— Подойди сюда... ближе... еще ближе... — тихо сказала Ольга Николаевна.

Сама не зная, как это случилось, Аленка оказалась на коленях перед ней.

Ольга Николаевна протянула свою худую руку и приподняла к себе несчастное лицо «преступницы». Долго, грустно вглядывалась в молящие большие глаза девочки, как бы пытаясь проникнуть в самую глубину ее души.

Наконец, сказала тихо, значительно: — Ты понимаешь, как все это недопустимо. И твоя ложь... И вот это...

Алена зыркнула в сторону смятой записки и грешного букета, наполняющего казенную комнату волнующим ароматом весны.

— Мне бы следовало тебя наказать... Но, вот, сейчас я прочла в твоих глазах то, что мне так хоте

лось... И потому я не буду тебя наказывать и даже читать нотации. Обещай мне, что это не повторится.

Не доверяя своему голосу, Алена мотнула головой.

— Тебе ведь всего 15 лет...

— Скоро 16, — хриплый протест.

— Ну, да, ты еще так молода ... Не торопись... У тебя ведь вся жизнь впереди... Пока надо учиться. Думать. Читать. Я давно слежу за тобой и знаю, что ты способная, талантливая девочка. Но бедовая... — Чуть заметная улыбка тронула углы ее синеватых губ.

— Если бы ты знала, как я люблю и тебя и вас всех, так хотела бы, чтобы вы выросли хорошими, настоящими русскими девушками... А не вертушками только и думающими о флирте, о нарядах, выездах... Я могла бы жить, не работая. Я... я очень больной человек. Но вот я остаюсь на своем посту, потому что я люблю свое дело и люблю вас всех... вот почему мне так больно, когда одна из учениц разочаровывает меня...

Алена схватила ее руку и прижала к своей пылающей щеке. — Я обещаю, — прошептала она, хлюпнула курносым носом и заплакала.

Зареванная, но счастливая, она встала с колен. Побрела к двери.

— Возьми свои цветы, — в догонку сказала ей Ольга Николаевна, сияя непривычной нежной, светлой улыбкой — Ты — жестокая красота...

КОТИК И КОТЬКА

Это было давно... Много, много лет тому назад. Во время 1-й мировой войны моя старшая сестра, проводив мужа на фронт, переселилась к маме на Фонтанку.

Всем вместе — было все-таки легче ждать, надеяться, молиться. Минуты радости, когда приходили весточки с фронта, снова сменялись леденящими душу опасениями — «а что, если, пока шло письмо»...

Ничего не хотелось делать, кроме приготовления очередной посылки туда — с лакомствами, папиросами и угрожающим количеством напульсников, набрюшников и наушников, связанных из мягчайшей шерсти... Только много позже признались наши воины, что все эти наушники ни разу не были ими применены — ввиду их полнейшей ненужности.

В эти тревожные, мучительные дни единственным нашим утешением и поистине лучем солнца был сынишка моей сестры и мой единственный племянник — Котик. Не знаю — как посторонним, но нам всем, его «бабусе», его гордой мамаше и мне, тогда очень молоденькой тетке — он казался совершенно гениальным, недосягаемо очаровательным и, уж конечно, неповторимым.

Баловали мы его все, каждая на свой лад — неописуемо.

Единственный мужчина в доме — «дедуся» — толь-

ко головой покачивал, распространялся о недопустимых методах воспитания и уверял, что, при таких условиях, из Котика может выйти что-либо путное только при наличии чуда.

Впрочем — все это была лишь теория. На практике же — стоило Котику, обняв его колени, устремить вверх к нему свои «кусочки неба» — большие голубые глаза — и «справедливо строгий» дедушка готов был скакать по всем комнатам с внуком, уцепившимся за его шею и издающим восторженные, боевые вопли...

Мы же, три женщины, пускались на все хитрости, чтобы получить честь и наслаждение вечером выкупать его, накормить кашей и рассказать на ночь сказку. Будучи матерью этого сокровища, Вера, конечно, имела перед нами неоспоримое преимущество и, по моему, злоупотребляла им возмутительно.

— Вера, ты, может быть, занята. Дай — я сегодня Котика выкупаю.

— Ни в коем случае. Я — мать, и это моя обязанность!

— Ну, тогда позволь мне хоть рядом постоять. Котик, ты же хочешь, чтобы твоя тетя Лиля с тобой была? Да?

— Да. И бабуся тоже.

Температура воды в ванночке смеряна 7 раз. Розовое, визжащее от наслаждения существо плещется в воде. Рядом плавают гусь, лодочка и огромная губка. Хитрая попытка присоединить в последнюю минуту плюшевого Мишку вовремя замечена и пресечена.

— Боже мой, Вера, как ты неосторожна. Ребенку в глаза мыло попадет!

— Отстань! Я — мать и лучше знаю и умею. Котик, теперь довольно.

— Еще только ка-пельку.

Смеющегося, отбивающегося, ярко розового окутывают прогретым мохнатым полотенцем и торжественно тащут в кроватку...

Лежит. Блаженно сопит. Рядом на подушке чистый

гусь и не выкупанный, грязный, но любимый Мишка. Все в порядке.

— А теперь, тетя Лиля, ласкажи сказку.

— Почему всегда Лиля? Сегодня я.

— Ни-ни. Тетя Лиля.

Изнемогая от торжества, я высокомерно говорю в нос: — Ну, если ребенок предпочитает мои рассказы — вам придется удалиться.

Мама и Вера, явно ревнуя, уходят. Я набрасываюсь на добычу и целую его уютную шейку, за одно и все, что попадется под губы.

— Довольно... Не тискай... скорее сказку...

— И отчего только ты такой вкусный, Котик?

— Оттого, что каждый день какао пью, — объясняет деловито.

— Ну, слушай. Жила была на свете маленькая девочка... — Маленькая, — не большая? — Да. И была у нее собачка. — Настоящая, живая, кожаная? — Да.

Я вижу — Котику очень трудно. И слушать хочется и спать. Ведь, как ни как, за спиной длинный, насыщенный всякими новыми впечатлениями и переживаниями день... Он честно борется с дремотой, но та побеждает...

Спит... Я наклоняюсь, прикасаюсь чуть чуть губами к пухлой ручке и, выйдя на цыпочках, закрываю дверь. «тсссс... спит... больше нельзя тревожить»...

— Я — мать, и знаю лучше, — фыркает обиженно Вера.

Мы все склоняемся над вязанием наушников...

Нужно сознаться — утром мы любим Котика меньше. Уж очень он рано просыпается и уж слишком настойчиво требует, чтобы его немедленно одели. Тут правду сказать, каждая из нас охотно уступила бы эту честь другим. Серое, уныло-слезящееся за окном петербургское утро не так уж располагает к раннему вставанию. И легче прокоротать час, оставшийся до прихода почтальона, в теплой кровати в полусне...

— Лиля, одень Котика. — А? Что? Нет, ты — мать. Не смею лишать тебя такого счастья.

— Котик, ты бы еще немножечко подремал. — Ни-

ни. — Рано еще к мамочке, так спать хочется. — Ни-ни-ни. Не хоцца. — Спи. — Ни, я тогда к бабусе.

Котик спускает ножку с кровати, готовый к прыжку. Это, собственно говоря, шантаж. И он и мы все знаем, что бабушке необходим по утрам полный покой. Хорошо, что ее спальня далеко, через две комнаты.

— Лиля, я встану и тихо, тихо играть тут буду. А ты опять спи. Ты у меня такая холошенькая...

Очень польщенная, очень заспанная и в такой же мере растрепанная, Лиля все-таки встает, одевает его, сует в руки любимые игрушки. — Только сиди спокойно и из комнаты ни ногой. Да?

— Ды-ды. — Убедившись, что мы обе закрыли глаза, Котик вскакивает и несется стремглав прямо к бабушкиной спальне. «Топ, топ, топ» — звонко раздается в утренней тишине... Забыв все предписания всех докторов, бабушка хватает его, бросает в свою постель, и там начинается веселая возня, в которой есть и нежность, и смех, и все, что хотите, кроме одного необходимого — спокойствия.

Долго мы думали — как спасти бабушку от таких вторжений. Придумали. Одев Котика и обложив его мягкими подушками и игрушками, стали привязывать его за ножку к ножке кровати матери. Сначала он оскорбленно ревел, гневно протестовал. Потом понемногу привык и даже полюбил.

Помню, как сейчас: сидит смирненько и что-то шепчет. Очевидно, представляет себя пленником, схваченным злыми ведьмами. Но сейчас появится добрая фея, освободит его и соединит с бабусей. И тогда — берегитесь, злые силы...

Судя по бросаемым в нашу сторону косым его взорам, «злыми ведьмами» были мы. Обидно. Но все-таки лучше, чем позволять ему мчаться в такую рань к бабушке.

В конце концов, он до того вошел в свою роль пленника, что один раз, когда мы забыли его привязать, он наполнил гневными воплями всю квартиру и

успокоился только, когда мы, прося прощение за провинность, исправили оплошность.

Наступило время, когда нам суждено было расстаться. Вера с мужем и с закутанным до глаз в пледы Котиком уехала на Кавказ.

Осиротевшие, удрученные вернулись мы в сразу опустевшую, притихшую квартиру.

«Кто может знать при слове расставанье
Какая нам разлука предстоит»...

С Верой мне с тех пор так и не пришлось увидеться. Через некоторое время мы с мужем оказались в Сибири в Белой Армии.

Несколько лет спустя, будучи уже эмигрантами, мы смогли списаться с Верой. Она писала о смерти мужа, о своей трудной жизни, о том, что она болеет, и что если бы не ее солнышко — Котик — то...

Написал потом и Котик. Очень взрослое самостоятельное письмо. Благодарил за посылки, сообщал, что он является редактором и главным сотрудником школьного журнала, издателем которого является он же.

Я читала и перечитывала эти редкие письма и клала их ночью под подушку, надеясь хоть во сне опять повидаться со своими...

В голове не укладывалось представление о взрослом Котике. Я продолжала упрямо рисовать его себе розовым очаровательным ребенком с голубыми задумчивыми глазами.

Потом переписка наша прервалась; для них стало слишком опасным получать письма с заграничными марками.

Летели дни, месяцы, годы на чужбине... Борьба за существование, работа, мелочи каждого дня помогали забыться... Иногда я долго не вспоминала о них, своих близких-далеких. Но где-то, в самом сокровенном уголке сердца, они были со мной всегда. И, когда ночью я была безвольна заставить себя заглушить по-

лынную горечь воспоминаний — приходили ко мне мама, Вера и Котик. Жаловались и утешали, плакали и улыбались...

И они были всегда неотделимо связаны с мыслями о Родине... На утро, после таких мучительных снов, — мокрая от слез подушка, головная боль и лютая тоска, мешающая опять погрузиться в «действительность каждого дня».

В один из таких дней, когда в голове действительность переплеталась со снами, я возвращалась домой с работы. В подъезде внизу внезапно открылось окошко, и наш портье высунул, как Петрушка, свою всезнающую голову.

«Ваш племянник приехал».

Не помня себя, ворвалась, я в нашу квартиру. Навстречу мне поднялся бледный, убого одетый молодой человек. Он мне кого-то смутно напомнил, но у меня не было времени сообразить — кого же.

На кушетке, среди наваленных узлов, сидел... Котик. Точь в точь такой, каким я его помнила, вспоминала всегда — розовый, светловолосый, с «кусочками неба», вдумчиво и строго устремленными на меня.

Я бросилась к нему, изнемогая от нежности, радости... — Котик мой, Котик... Котик... — Обхватила его, прижала к себе.

Ребенок, пыхтя и сопя, постарался освободиться. Проговрил строго: — Я не Котик. Я — Котька. А это мой папа, и мы с ним ехали, ехали, и я теперь голодный.

— Да, да, тетя Лиля, тебе уж придется примириться с мыслью, что Котик успел, как ему и полагалось, вырасти, жениться и стать отцом этого сорванца. Моя жена умерла при его рождении... Прошу любить его и не судить слишком строго...

Жадные расспросы, ответы, возгласы... Пока настоящий Котик старался ответить мне на сто вопросов сразу — Котька несколько раз исчезал, осматривая нашу квартиру и ища, и, судя по его вымазанной

до ушей рожице, найдя кое-что во время научных раскопок в кухонных шкафах.

Позже мы уселись за стол, пили чай и говорили, говорили... Меньше всех Котька. Он деловито питался, молчал и слушал. Конечно, я коснулась и любимого воспоминания о том, как мы Котика по утрам за ножку привязывали.

Котик со смехом посмотрел на сына, подкреплявшегося вареньем прямо из вазочки. — Знаешь — Котька никак не одобряет тогдашнего моего поведения. Он уверяет, что совсем иначе бы поступил.

— Что же бы ты сделал, малыш?

— Знаю, да не скажу.

Котька хитро ухмыльнулся, шмыргнул носом и лихо выплюнул вишневую косточку прямо на ковер.

Кончил питаться. — Ух, и нажрался же я, — сказал, поглаживая живот, сполз со стула и удалился.

Судя по доносившимся звукам — открыл кран в кухне. Убедился — вода бежит. Перешел в ванную.

— Дотошный мальчишка, всюду ему надо нос сунуть, — сказал Котик, прислушиваясь. Очевидно, заинтересовавшись устройством клозета, Котька через некоторые промежутки дергал за шнур.—Нашел Бахчисарайский фонтан, — заявил Котик, вставая, — однако, надо посмотреть — как и что там.

Пошли, посмотрели... Очень деловито, Котька проталкивал в отверстие всякие кухонные принадлежности, спускал воду, проверял исчезновение и снова брался за очередную жертву...

— Котька, как ты смел! — прорычал Котик басом, — ты ж засоришь проход. — Уже, — сказал Котька, показывая на перебегающие через край струйки воды, — смотри...

Угомонили его кое-как. Я уговорами, Котик прозрачными намеками на порку. Вернулись в столовую. Мы опять увлеклись разговорами. Котька копошился под столом у моих ног. Несколько раз я пыталась посадить его к себе на колени. Он протестовал: — Папка, она тоже приставучая, как и бабушка, все тискает

и тискает меня. Скажи ей — я не люблю. — Скажи сам. — Я и говорю, да она меня не слушает.

Отошел к окну, влез на подоконник, высунулся. — У-у-у, как высоко... Я вскочила, бросилась к нему, боясь, что он вывалится... и... растянулась бы во весь рост, если бы не уцепилась за край стола. Моя нога оказалась крепко привязанной веревкой к массивной ножке стола.

— Котька, ты уже и здесь твои штуки... Теперь уж непременно выпорю, — возвестил Котик, пытаясь развязать узел.

— А почему ты ее не выпарывал, когда она тебя самого привязывала?

— Да я же тогда шутила, глупыш.

— Ну и я теперь шутю.

— Вот подите с таким хулиганом, — сказал его молодой отец, вставая с пола и сконфуженно косясь на меня. — Сейчас-же проси прощения у тети, слышишь? — Ни-ни, — сказал Котька, лукаво улыбаясь и наклоняя к плечу буйную русую голову.

Когда вся квартира стояла вверх ногами, а мы с Котиком еле на ногах стояли, — Котька, на наше счастье, стих. Прилег на диван, закрыл глаза, потом, не сдаваясь, вытаращил их и придержал веки пальцами, уверяя, что они ему на зло закрываются.

Я предложила его выкупать после длинной дороги. — Не очень то он это любит, — опасливо шепнул Котик. — Котька, хочешь купаться? — Не-е, я и так чистый. Меня в поезде ветер выкупал.

Пользуясь тем, что он был обессилен сном, мы все-таки умудрились раздеть его и посадить в ванну. Вынули, завернули в полотенце, уложили в постель. Заснул, чмокая розовыми губами и ухватив руку отца своей теплой ручкой, как бы перетянутой в кисти ниточкой.

В эту минуту, только в эту минуту он был совсем похож не только наружностью, но и «внутренностью» на моего тогдашнего обожаемого Котика.

ДЕРЕВЬЯ И ЛЮДИ

Впервые я услышала слово «перемещенные» в двадцатых годах. Оно относилось не к людям, как потом ко многим из нас, а к деревьям. Так как в судьбе этих деревьев было много общего с судьбами «ди-пи», то есть «перемещенных лиц», то об этом эпизоде стоит упомянуть.

Произошло это в первые годы эмиграции. В Берлине... Моя приятельница, тоже русская, вышла только-что замуж за богатого немца и решила после скудного эмигрантского прозябания выявить широту русского размаха.

«Много просьб у любимой бывает всегда. У разлюбленной просьб не бывает»... — сказала Анна Ахматова.

Не знаю, как у других любимых, но у этой — просьб оказалось неимоверное количество и, притом, сопряженных с таковыми же расходами.

Вилла была раскритикована и переделана сверху до низу. Мебель заменена новой.

Дошло дело и до сада. Аккуратные клумбочки в форме могилок исчезли, побежденные художественным беспорядком разбросанных там и сям «тигровых» лилий вместо «мещанской» львиной пасти и незабудок.

Кроме того, ей непременно понадобился бассейн для плавания. Муж ее, хотя и влюбленный, но все же не-

мец, долго чиркал в записной книжке, подсчитывал... В результате этих манипуляций тихо загрустил и громко заявил:

— Окрестности Берлина славятся целой сетью красивых озер. На любом из наших автомобилей ты можешь доехать до любого из них в полчаса. Свой же бассейн вещь хотя и декоративная, но дорогая. Вода в нем будет не всегда свежей, ибо менять ее обойдется в солидную сумму, а именно — 149 марок и 70 пфеннигов. Кроме того, Берлин не Холливуд, к экстравагантностям относится критически. А посему соседи будут глазеть и на него и на тебя в купальном костюме. Да и плаваешь-то ты совсем неважно...

— Но я не привыкла жить без бассейна, — капризно прервала она скрипучий голос Карла, хмуря «соболиные брови» и «зябко» кутаясь в соболя.

Карл вспомнил ее меблированную комнатку без всяких удобств, но со свирепой хозяйкой, требующей, чтобы гости не протирали колченогое кресло, на котором сиживал сам «гроссфатер, оберрегирунгсрат», и проскрипел, что он там бассейна не приметил.

— Я не говорю о Берлине, а о России, — высокомерно бросила жена.

Хотя у ее супруга на самом дне души временами начали пошевеливаться темные подозрения, что у многих русских эмигрантов что-то уж слишком много было всего в России, а у Тати-яны — как он выговаривал — особенно, но он эти подозрения еще раз подавил и выдавил: «гут, майн шац», то есть — хорошо, мое сокровище.

Чтобы досконально изучить знаменитую «руссише зееле» — русскую душу — и понять ее, он добросовестно проштудировал романы Достоевского. Ни душ героинь романов Федора Михайловича, ни героини своего романа, то есть собственной жены, не понял и, окончательно сбитый с трезвого немецкого толку, капитулировал раз навсегда.

Бассейн вырыли. Наполнили водой. Соседи глазели. Тати-яна заявила, что это ее нервирует и надо прекратить.

— Невозможно. Немецкий бюргер имеет право смотреть, куда ему захочется, — неожиданно твердо объявил справедливый немец.

— В таком случае, мы посадим старые высокие серебристые ели. Закроемся ими, — решила Тания.

Муж ее опять долго чиркал в записной книжке, подвел итоги, горестно шевеля губами и кончиками ушей, и сказал:

— Очень дорогая затея. Многолетние деревья пересаживать сложно, а посему соответствующе дорого. К тому же, как бы высоки ни были ели, глаза соседей в трехэтажном доме напротив будут еще выше.

— Просто, тебе жалко денег. Немцы все скупы, не то, что мы, русские. Мой отец, будучи настоящим барином, никогда... Помню...

Муж схватился сперва за волосы, потом за телефонную трубку, опасаясь, что, в связи со старыми воспоминаниями, у нее появятся новые, более дорогие желания. Чтобы их избегнуть, он прибегнул к пространному разговору с известным садоводством.

Таня позвонила мне: — Приезжайте посмотреть на процедуру пересаживания многолетних деревьев.

Процедура оказалась в самом деле очень сложной. На огромных грузовиках целая комиссия привезла целый лесок. Над вырытыми ямами выстроили сложные сооружения. Бережно зарывали корни. Меня поразил вид этих корней — они были клубнями.

Посасывая толстую сигару, главный садовник объяснил деловито, что деревья, предназначенные для перемещения, как эти, например, необходимо перемещать с места на место каждые три года и, при этом, заворачивать их корни, чтобы не разрослись во все стороны и в глубину, — иначе неминуемая гибель при перемещении.

— Бедные деревья, — сказала я, — ну, ничего, зато теперь здесь они могут спокойно пускать корни, их никуда больше не пересадят.

— Это неизвестно, — заметила Татьяна, загадочно улыбаясь: — может быть, мне захочется их перегруппировать иначе, более эффектно...

Странное дело — одинаковые деревья совсем по-разному реагировали на пересадку. Одни крепли со дня на день, горделиво расправив свои ветви, как бы покрытые серебристым инеем; другие, видимо, старались освоиться, но с трудом. А некоторые стали хиреть и скоро погибли.

Призванный на консультацию важный садовник с сигарой сказал:

— Ничего удивительного в этом нет. Ведь деревья — как люди. Одни осваиваются на новом месте, а другие, оторванные от родной земли — погибают. Яволь!...



Да. В самом деле — как люди. Вот и мы разно реагировали на перемещения. Одни на чужбине «пустили корни» глубоко, так глубоко, что даже забыли — или стараются уверить и себя и других, что забыли — Родину.

Другие крепятся и стараются справиться с тоской по Ней.

А третьи — погибли...

СЕРЕЖКА

Из венских воспоминаний

Много лет прошло с тех пор, как ты ненадолго появился среди нас, Сережка.

Было за эти годы «много встреч и много лиц» и много событий, превративших нас сначала в Ди Пи, а затем в граждан различных стран. Но я не могу забыть тебя, так и непонятого нами, хаотически сочетавшего в восемнадцатилетней душе хорошее и плохое русского беспризорника.

Был ли ты, как полагали некоторые, прислан оттуда вредителем со специальными заданиями, пробрался ли ты за границу, спасаясь, как говорил сам. Или привело тебя к нам ненасытное любопытство, постоянная потребность менять места, скитаться, как ты уже успел за свою короткую жизнь исколесить чуть ли ни всю Россию...

Так я и не узнала этого. Так и не поняла. Каждый раз, как я вспоминаю тебя, у меня мучительно сжимается сердце... Такого смышленного, способного, во многом преждевременно развитого и во многом такого еще ребенка и дикареныша... Ах, Сережка!

Вспоминается наше знакомство с тобой. Это было в Вене в скромном помещении русского эмигрантского клуба. Как все последнее время, собралось много

народу: и своих, старожилов, и еще больше только что приехавших.

Разговоры о текущих событиях, шопот, критикующий немцев и их политику, и, главное, — наши жадные, бесконечные расспросы о том, что делается там, на Родине.

Потом, под конец, не очень стройное, но воодушевленное пение хором. Конечно, как всегда, — «Скажи-ка дядя, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром»... Потом — популярная тогда «Катюша»:

Отцветала яблоня да груша,
И плыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
Выходила на берег крутой...

Потом кто-то затянул песню беспризорных. И в ту минуту раздался громкий, по-мальчишески срывающийся, голос:

— Эх, не так, ну, совсем не так поет!

Мы все повернули головы. И устремили глаза на обладателя этого голоса. В дверях стоял худой, бледный мальчик, на вид лет пятнадцати. Смятый блин козырьком на правое ухо на коротко остриженной голове. В углу большого рта папироса. Руки в карманах рваных штанов. Это был Сережка Михайлов.

Я подозвала его к себе. — Как не так? Мотив неверный или слова?

— Дух неверный, вот что.

— Критиковать легко, — обидчиво сказал бесцеремонно прерванный исполнитель, — ну, спой сам, покажи этот дух.

— И покажу, и спою. А петь надо во как.

При наступившем молчании он запел. И, действительно, было что-то настоящее, свое, русское в этом слабом фальцете. Особенно потряс нас тоскливый, покорный судьбе конец песни:

«Умрешь — похоронят,
Засыплеть земля,
И никто да не узнаеть,
Где могилка моя»...

Он именно так произносил глаголы — с мягким знаком в окончании. Его окружили, засыпали вопросами.

Ничуть не смущаясь общим вниманием, Сережка с апломбом отвечал и спрашивал сам. Его вопросы, в отличие от наших, были строго практическими.

Увидя на моей руке часики, он ткнул в них грязным пальцем:

— Сколько камней? — Каких камней? — Ну, рубинов в их? — Хм, понятия не имею. — Тоись, как не имеешь? О чем же имеешь? Это-ж в часах самое главное. — Конечно, конечно, но я не знаю. Идут, не отстают и слава Богу...

Он презрительно сплюнул в сторону и побрел вдоль стен, на которых были развешены портреты русских Царей и Императоров. Посмотрел, вернулся ко мне.

— Это кто такие? Родственники, что ли?

— Это, Сережа, русские Цари.

— Аха.

— Скажите, пожалуйста, молодой человек, что говорят в СССР пожилые люди о прежних временах? Признают ли они, что раньше всем жилось лучше, чем теперь? — осведомился высокий господин в высочайшем крахмальном воротничке.

— Когда — раньше? Это при Ленине, что ли? — вопросом же ответил Сережка, — на этот счет разно говорят.

Да. Начало он видел там, где многие из нас видели конец. О том, что было в России еще раньше, до Ленина, он, как оказалось, не имел да и не хотел иметь никакого понятия. Он был весь в настоящем.

Деловито пощупал материю костюмов у мужчин. Спросил, пренебрежительно ухмыляясь: — Это что-же у вас тут хорошим материалом считается что-ли?

— Да, ничего. — Ну уж, ничего. Дрянь это, барахло, а не материя, я уж знаю, я спицилист. Посмотрели бы на наш коверкот, вот ему сносу нет.

— Почему же, если сносу нет, твои коверкотовые штаны так износились? — ехидно осведомился обиженный «европеец».

— А разве я сказал, что они коверкотовые? Они из такого же барахла, как и твои, за-гра-нич-ные, гы-и.

Я предложила ему бутерброды. Он взял, улыбнулся дободушно-хитро.

— Ишь, накромсала хлеб, насквозь видно.

— Сейчас, Сережа, война, мы рады и такому.

— Гы-и а у нас даешь вот эдакий ломоть (он указал на своей руке до локтя), — а на нем вот эдакий кусок сала — (он показал большим и указательным пальцами вершка два).

— Если у вас все такое замечательное да грандиозное — то почему же ты сам такой тщедушный?

— А черт меня знает... Такой уж уродился, но я сильный, пятерых одолею. Долго будут зубки по углам подбирать. А почему в передней темно? Испортилось что? Я тебе в раз починю, я спицилист. Вот.

— Ты что-то уж больно во многом специалист.

— Гы-и, так оно и есть. И еще парикмахер я, последний год в Крыму лучшим был. Завтра всех вас постригу под бокс или полубокс, как захотите. Такими красивыми станете себя не узнаете.

— Спасибо.

— Чего заранее благодарить? Успеете. А сколько копеек я тебе за угощение должен? — Он вытащил из кармана подобие кошелька.

— Что ты? Бог с тобой, Сережа.

— Нет, я всегда плачу. А водки нет? Я бы выпил.

Кто-то осведомился, где он остановился. Он не понял. Разъяснили. Он опять показал в бесшабашной улыбке мелкие, белые зубы. — Да где придется. В лучшем ихнем ателе все номера заняты были гы-и...

Потом он еще спел, но уже «веселенькое». С картин-

ными ужимками исполнил куплеты про старушку, шедшую через улицу, и мчащегося лихого мотоциклиста. Эффектный конец гласил:

«Мотоцикл ее цыкнул,
И старушки больше нет»

Таково было наше первое знакомство с Сережкой. Он сразу же стал говорить мне «ты» Елена Васильевна. Я сначала называла его на «вы», но скоро перешла тоже на «ты».

Вначале он был аккуратным и желанным посетителем наших «сред». Выдали мы ему из скромных «общественных» запасов костюм и несколько рубашек.

В следующий раз он появился в своем старом пиджаке и немедленно стал оправдываться: — Ты не сердись, я тебе вот что скажу: у нас там есть ребята, которым еще больше нужно, я им дал. Что — не веришь?

— Ты, Сережа, так много врешь, что это не удивительно. Знаешь, кто-то сказал что для того, чтобы врать — надо иметь хорошую память. А у тебя ее нет. Ты все разно про одно и то же рассказываешь.

Поковырял в носу (это у него обозначало — думать), потом понял и начал смеяться, ударяя себя по ляжкам.

— Не ковыряй в носу, это отвратительно!

— Чешутся.

— Что чешутся? Ноздри, что ли?

— Нет, руки чешутся. Что-то делать пора. Ну, и скучища же у вас тут.

— Где тут, в клубе?

— Вапче в загранице, а в клубе еще ничего, только, как в тиатрах: входят, кланяются, потом к дамам подойдут, опять кланяются и им руки целуют. Умора!

Была у него непреодолимая страсть сниматься и потом «фотокарточки» раздавать всем нам, присовокупив витиеватую надпись невероятными каракулями, с еще более невероятными ошибками.

Приходил он и на квартиру к некоторым из нас — в гости, всегда в неурочное время. Находил самые глухие улицы моментально.

Пригласила я его, как-то, к обеду. Явился прифранченным, даже с чистыми руками. В этих руках он бережно нес нечто огромное, завернутое в несколько газетных листов один грязнее другого; поставил на стол, начал разворачивать... И, как Венера из пены морской, — на свет появился глиняный, цветистый, красноносый гном во всю натуральную гномовскую величину.

— Во тебе подарок, — торжественно провозгласил, — а что одной ноги не хватает, ничего, я починю, я спицы...

— Да, знаю, ты тоже и гномовский специалист. Сережка, у меня мрачное подозрение, что ты его где-то свистнул?

— И ничего подобного. Просто на улице подобрал, около домика за городом.

— Но этот кусок улицы был случайно огорожен забором?

— Може и был, кто его знает.

— Не притворяйся дурачком. Это кража, и ты сегодня же вернешь его на место. Слышишь?

Он почесал за ухом, полюбовался гномом и без всякого энтузиазма обещал исполнить.

Сели за стол. Я подала борщ и спросила — нравится ли ему.

— Ничего себе, а только послушай, чего я тебе скажу, в ем чего-то не хватает. — Он сорвался с места, исчез в кухне и вернулся с тарелкой, полной мелко нарубленной петрушки. — Петрушечки, вот чего не хватает.

Захватывая ее пальцами, он начал сыпать в наши тарелки. Никакие протесты не помогли. — Ну что небось совсем другой скус получается, а? Я уж знаю, я спицилист, там, в кухне, я котлеты тоже петрушечкой посыпал.

— Ты, Сережа, нашу квартиру лучше меня знаешь.

— Гы-и, а теперь пивца бы...

— Откуда же его взять? Что ты, с неба, что-ли, свалился?

— Посмотрим — кто свалился. Даешь кувшин?

Он схватил жбан, исчез и принес его полным янтарного пенящегося пива. Мы поохали, я принесла деньги, чтобы отдать ему, он искренне обиделся. — Я от всего сердца угощаю, а ты плату суешь. И не заикайся!

Во время обеда Сережка выразил разочарование, что он «в загранице» ничего особенного не видел. Что-бы мы ему ни называли — он отметал, говоря, что все это у них есть, да получше. Тогда я притащила и пустила в ход электрический пылесос. Он, наконец, заинтересовался, подсунул под язык шипящего чудовища какую-то дрянь из кармана; чудовище слизнуло, потом еще что-то. Сережка присел на корточки и по-детски с любопытством его рассматривал. Я повернула рычажок и направила ему прямо в лицо сильную струю воздуха. Сережа радостно ухмыльнулся. — Гы-и, здорово. — Таких ты там не видал? — Хм, не совсем, чтобы вроде —, туманно ответил он и сейчас же разобрал и снова собрал пылесос и, поняв, сразу охладел к нему.

Потом он исчез на две недели, и мы начали уже беспокоиться. Вдруг появился и рассказал что его наднях на улице «полицай» сцапал, пристал — покажи документы, ну, — паспорт. А где я их возьму? Он меня хвать за ухо, да и тащит; я плачу (у него была особенность — по заказу моментально наполнять глаза слезами) и прошу, — отпусти, дяденька, я никс плохого не сделал у меня никс родителей; он не слушает и тащит; приволок в кафе, посадил за стол, кофе заказал, булочки бе-елые, сунул мне в рот папиросу, погрозил пальцем — и ушел. Вот какие, однако, тоже немцы попадаются.

— Сережа, чувствует мое сердце, что ты не просто прогуливался, у тебя так просто ничего не делается; боюсь, что ты пробовал залезть в чужие карманы?

— И ничего преподобного, гы-и...

— Ах, Сережа, боюсь я — ты плохо кончишь...

— А ты не бойся, авось и не кончу; ты, лучше, во на что полюбуйся!

Он растопырил обе руки перед самым моим пригорюнившимся носом. Каждый его палец сверкал и горел аляповатыми кольцами с поддельными камнями. Но этого мало — обгрызанные ногти были густо намазаны ярко розовым лаком.

— Это еще что за мерзость!

— Тоись как мерзость?! Красота! Не завидуй, я тебе подарю одно кольцо, выбирай!

Много трудов и уговоров стоило заставить его снять кольца и смыть лак. Впрочем, нет — нет мелькало одно из них и непременно почему-то на указательном пальце.

Каждое его появление в клубе было очередной сенсацией. Он успел многим надерзить, число его друзей уменьшалось с катастрофической быстротой. Немногие оставшиеся всеми силами старались его «перевоспитать», но, или мы были плохими воспитателями, или объект был слишком труден — нам это мало удалось.

Помню, как подскочила ко мне молодящаяся дама.

— О, мон Дье, этого заморыша надо немедленно выгнать. Знаете, что он мне сказал, когда я попросила завести граммофон, чтобы нам всем потанцевать: «Тебе, старухе, в гроб пора, а не фокстроты отплясывать».

Потом он опять надолго скрылся. Время было особенно тревожное, людей арестовывали направо и налево... И вот, однажды, когда мы собирались закрыть клуб после очередной «среды», ко мне подошел один из Сережкиных друзей. — Возьмите фонарик и идемте — прошептал он.

В гулком замерзшем коридоре было темно. Мы на цыпочках прошли в самый конец. В одной из дверных ниш, скорчившись на каменном полу и положив голову на поднятые колени, спал Сережка. Он не проснулся даже от света направленного на него фонарика. Только когда я потолкала его в плечо — он поднял окровавленную голову. Ужасен был жест, когда

он, еще плохо соображая, смотрел на нас, закрыв лицо вывернутой наружу ладонью, как бы защищаясь от ударов.

Мы повели его в кухню, заперли дверь, обмыли обезображенное лицо, руки... Из его бессвязных слов поняли, наконец, что он вчера ночью каким-то образом попал в охраняемую немецкую военную автомобильную мастерскую и заснул там в одной из машин. Его обнаружила стража, избила и собиралась передать его военному суду, но он как-то умудрился сбежать.

— Стоит ли рисковать жизнью так просто, из любопытства? Сейчас война, Сережа. У тебя нет документов, ничего. Кто же тебе поверит, даже если ты правду говоришь?

Он упорно молчал, закрыв от слабости глаза. Что было с ним делать? Несмотря на то, что клуб постоянно контролировался властями, и нам строго-настрого было запрещено открывать его помимо установленных часов — другого выхода не было. Мы устроили ему постель на жестком диване, прикрыли его тяжелыми портьерами, содрав их с окон, тщательно закрыли ставни, накормили и напоили его. Ушли, взяв с него слово, что на рассвете он уйдет.

Он взял мою руку, рассеченные губы прошептали
— Никогда не забуду, что вы так обо мне стараетесь.

На другой день, когда я пришла в клуб, чтобы убедиться, что все кончилось благополучно, его там уже не было. Но единственные наши две большие кастрюли были осквернены так, что их сейчас же пришлось выбросить. Отблагодарил...

Он опять пропал. Надолго. В постоянных «алярмах», заботах, волнениях, подслушивании заграничных радио — что каралось смертной казнью — проходили дни и ночи. Мы вспоминали о Сережке с тревогой, но его последнее хулиганство в клубе тогда ночью меня к нему очень охладило.

И вот как-то глубокой ночью он появился у нас, открыл нижнюю входную дверь отмычкой. Я услышала стук в нашу дверь. Высвободилась из под пледов,

прикрывающих меня и радио, и пошла к двери. Признаться — думала, что кто-то подслушал и донес...

Тогда шутили в городе: какое любимое занятье венцев? — Играть по ночам своей жизнью — слушать английское радио.

Когда, набравшись мужества, я открыла дверь, я увидела Сережку. Он был страшно бледен. — Ты не бойся, я только на минутку. Я сейчас уйду. Ведь вам всем не охота со мной больше говорить. — Да. — холодно сказала я. — Я только попрощаться хотел. Совсем. Так вот — прощай. И вот тебе на память.

Прежде чем я успела ответить, он бесшумно шмыгнул вниз. Исчез. Я открыла пакет. В нем была фотография Сережи с безграмотными, как всегда, каракулями и маленький флакон невероятно сладко и дурно пахнущих духов.

Еще через некоторое время я прочла в газете две строчки мелким шрифтом на последней странице:

«Вчера ночью был приведен в исполнение смертный приговор над Сергеем Михайловым, 18 лет.»

«И никто да не узнает
Где могилка моя»...

Ах, Сережка...

ЗАГРАНИЧНАЯ МАРФУША

Познакомились мы с Марфушей в те дни, когда немцы уже ушли из Тироля, а американцы еще не пришли.

На улицах было выжидающе тихо. Магазины и лавки заперты. Несколько дней сидели без хлеба. Наконец — узнали — завтра утром выдадут.

Мы с Наташей встали в четыре часа утра и побежали становиться в очередь. Был туман, накрапывал дождь. Мы стали в длинный, злой, нетерпеливый хвост.

Где-то далеко впереди какие-то счастливицы протискивались из заветной двери, размахивая торжествующе трофеями. И, убегая, утешали ожидающих, что хлеба уже мало осталось...

Угрюмая ругань, вздохи... Еще глубже на нахмуренные лбы надвинутые платки...

И, вдруг, из-за угла выскочило нечто яркое, цветистое, привлекшее к себе общее враждебное внимание.

Короткая, зеленая, обтягивающая юбка, миловидное круглое лицо и широкие ступни, вываливающиеся из лакированных туфель на высочайших каблучках.

Это нечто вихрем пронеслось мимо нас и остановилось перед самой дверью. Можете себе представить, как реагировал на все это вместе взятое «хвост». Нарушительницу «хвостатых» законов явно собирались линчевать.

Поняла это не только я, но и она. Подбоченилась и начала зычно огрызаться на фантастическом немецком языке. В вольном переводе на русский получалось: «Эй, вы, тирольцы! Раньше вы были господами, а теперь господ нету. И вы помалкивайте, а не то»...

Тихо смеясь, Наташа толкнула меня в бок: «Соотечественница».

Мы увидели, как она, ловко и сильно действуя локтями, прорвалась в лавку и скоро вырвалась, держа в руках целых два хлеба.

Презрительно косясь на хвост, подошла к нам и сказала, протягивая нам один из хлебов, — вы ведь тоже русские. Я вас давно знаю. Берите, не стесняйтесь, чего там...

Разговорились. Оказалось, звали ее Марфушей, работала она батрачкой у крестьян высоко на горе. Люди ничего, жить бы можно, да надоело. По ихнему, по басурмански, она еще плохо говорит, — «а они, представьте себе, даже по-русски не умеют. Нет с кем душу отвести».

Протянула руку лопаточкой — будем знакомы. Вы ко мне приходите, яичек у хозяйки достану, молока, вы обе не ахтительно выглядываете.

Пошли мы к ней, стала забегать и она к нам.

Это было нелепое, несуразное существо, с дикарскими вкусами, но с золотым сердцем. Работать умела и любила. Прозвала хозяйских свиней и коров Машками, Ваньками и Аришками. Иногда пела разудалые частушки, чаще грустные песни. Очень тосковала по родине и все заграничное беспощадно отметала.

— Надоели мне все эти заграницы ужасть как. Узко здесь все. Никакой развязности... ни красы, ни радости.

— Ну, Марфуша, это уж не верно. Красиво здесь в Тироле очень.

— Подите вы! Ах — Тироль — Мироль — яволь! Горы да горы. Осточертели они. Вот у нас в Петюкове — это вам красота. Не то, что все эти Европы, пропади они совсем.

— А что же ты видела за границей?

— И слишком даже достаточно навидала. Хадость все. А вот у нас...

Пробовала было я рассказывать ей про страны, в которых успела, побывать за 25 лет эмиграции. О Японии, Китае, Америке, Франции, Англии, Германии... Слушала презрительно, шмыргала носом и говорила, что в Петюкове все было лучше.

Потерпели мы также полное фиаско, стараясь отучить ее от огромных фальшивых брошек, обтянутых юбок и вонючих «адикалонов».

— И ничего то вы не понимаете. Отстали уж очень. У нас в Петюкове на фабрике девушки мадерн одевались. По последней моде. А мои модельные лодочки — сам Уткин их делал. Первейший мастер. Только модельные и кренделял. А вы говорите — Париж какой-то там... И вабче. Тьфу!

Большим праздником для нее было, когда раздобыла где-то семечки. Лузгала их с наслаждением, лихо отплевывая шелуху на три метра в сторону. Уверяла, что на вопрос одной худой австриячки — откуда у нее такой яркий румянец и такая крепкая грудь — объяснила чудодейственностью семечек. Та поверила и умоляла достать их ей. Марфуша долго вспоминала этот случай и звонко хохотала, показывая белые зубы.

Подружились мы с ней так, что когда Наташе с Андреем удалось выехать в Париж, — они как-то протащили с собой и Марфушу.

Мне их всех очень не хватало. Письма из Парижа приходили неаккуратно и редко. Наташа пела в ночном ресторане. Андрей нашел работу в гараже. Марфуша вела их немудреное хозяйство, ходила поденщицей и презирала Францию.

Потом, после долгого перерыва, пришло от нее письмо, которое меня очень встревожило. Расшифровывая с трудом ее каракули, я поняла, что там произошла драма. Андрей ушел от Наташи. «И видели бы вы, из-за кого он Наташеньку бросил. Из-за дранной французинки. Лопни глаз — ни кожи, ни рожи. Смотреть тошно. А Наталья Александровна хоть и силит-

ся равнодушие изобразить — меня то не обманешь. Не таковская. Пропадает совсем. Не спит. Что я ей ни схатовлю — даже такую роскошь, как молочная каша, — в рот не берет. И петь в ресторане не хочет и даже со мной хаварить тоже... Ваабче — бяда, да и только. Вы бы приехали — образумили или помогли, а то пропадет наша Наталья. Лопни глаз — верно все отписываю. А пока — аревуар, силь вупле и екскюзе».

Мне давно надо было съездить в Париж по делам, да все визу не давали. Теперь с удвоенной энергией нажала все пружины, получила разрешение и поехала.

Как всегда — Париж очаровал своей неуловимой прелестью. Ударил в голову, как шампанское... Кишел автомобилями Булонский лес в сиреневой дымке наступающего вечера...

Но весь мой телячий восторг сменился ужасом, когда я увидела Наташу.

Она лежала на неубранной кровати, накрывшись теплым пуховым платком, похудевшая, бледная, с сухим, зловещим огоньком в синих больших глазах. Я попробовала ее успокоить, урезонить — ну, сошел человек с ума, скоро образумится, вернется с повинной.

Она вся вскинулась. — И ты смеешь думать, что я его еще люблю, что я его приму обратно! Знай раз навсегда — я его ненавижу и презираю всеми силами души. И, если бы он только посмел появиться, я бы его убила и сама из окна выбросилась. Если ты этого не понимаешь, если ты могла только подумать, что я смогу с ним опять... Нет, уходи. Ты мне тоже не друг. Уходи. Мне никого не надо.

— Как тигра лютая сделалась, лопни глаз, — шепнула Марфуша, провожая меня — и, все-таки, лучше пусть кричит, чем молчит. Я уж к вам забегу, расскажу — что и как. А пока бонжур и всего.

Прибегала она ко мне несколько раз. Ничего утешительного рассказать не могла.

С Наташей произошла перемена, но не к лучшему. «Раз Андрей таким оказался, то и я, — говорит, — себя покажу, возьму и заведу себе Жигуля или Жи-

голу, что-ли... Веселиться с ним буду, по ресторанам и по бистрам. А то уж очень ридикуль — говорит — так вот убиваться». — Вчера в ресторане своем опять ночью выступала, пела. Вернулась домой поздно. В руках цветы, изо рта винищем разит. «Завтра — кричит, — то же самое будет». Смеется... А потом всю ночь проплакала. Убивалась... Бяда, ой — какая бяда...

В следующий раз появилась взбудораженная.

— Выследила я его, голубчика. В бистре сидел со своей лахудрой. И физиомордия у ее — плюнуть и растереть. И то не стоит. Дивствительно — мерзопакостная, прости Господи. Ну, я смотрела, смотрела, на них, потом мимо прошла эдак, как будто равно дышу. Андрей меня увидел, за рукав дернул. «Что—спрашивает—ты тут делаешь, Марфуша?» — А я ему — «да ничего особенного, так же, как и вы опротивами да ликерами прохлаждаюсь» — «А как — спрашивает, — Наташа?» — и, право слово, не вру, побелел весь. Я, как будто, не замечаю, спокойненько так отвечаю «мерси за внимание. Все прекрасно — дальше некуда».

— Он меня что-то спросить хочет, а фифишка его к нему пристает — «кто это, да о чем ты с ней». Забеспокоилась французинка, учуяла «Кесекесекесе укусе», а он ей «риен, риен», — дескать, успокаивает. И еще что-то меня спросить хочет, да я головой эдак слегка кивнула — «некогда мне, аревуар» и уплыла.

— Марфуша, а ты знаешь, где он теперь живет?

— И конечно знаю. А вам на что?

— Так, на всякий случай.

— С фифишкой он в одной комнате живет, вот что!

— Как ты думаешь, сможет Наташа своего легкомысленного муженька забыть?

— Ни в жисть. Жаме. Никогда. Пропадет.

— Что же нам делать, Марфуша?

— Ждать. Вот что. Я уж вижу — скоро, голубчик, образумится. На коленях к нам приползет, прощения просить. Лопни глаз — приползет. А теперь меня Дювалиха, небось, заждалась. Пока.

Не выдержала я, зашла как-то ночью в ресторан, где пела Наташа. Там ее не было. Сказали — больна. Поехала к ней. Подошла к дому, увидела затемненный свет в ее комнате. Потом тонкий силует Наташи у окна с головой, облокоченной на раму...

Сердце рвалось к ней. Но я сдержалась и вернулась домой. Я ничем не могла ее утешить.

День моего отъезда подошел. Я укладывалась, решив под вечер поехать к Наташе попрощаться.

Тишина маленького номера вдруг нарушилась громким, нетерпеливым стуком в дверь.

— Слава Те, Господи, вы дома, — запыхавшимся голосом произнесла Марфуша, ворвавшись ко мне. — Идемте скорей. Андрей Петрович очинно болен. И вас привести немедленно просит. Лучше всего мы в метру влезем тут за углом.

Пока мы ехали, Марфуша успела мне рассказать, что с француженкой все кончено: «Не то сама к богатому удрала, не то Андрей ее вышиб. А сам лежит и молчит и жаром пышет».

На кровати, занимающей половину номера подозрительного отельчика, лежал Андрей. Мутное окно, выходящее на высокую обшарпанную стену соседнего дома, пропускало мало света, так что трудно было разглядеть его лицо.

Увидя меня, он вытянул тонкую шею в слишком широком воротнике пижамы и с усилием приподнялся.

Я подошла к нему и молча протянула руку. Он схватил ее и сжал обеими своими. — Спасибо, что все-таки пришла.

Марфуша вытащила из сумки длинный белый хлеб, масло.

— Единственная добрая душа, которая обо мне заботится, — тихо сказал Андрей, прерывая тягостное молчание.

— Подумаешь — заботится, — запротестовала Марфуша, натянула ему до шеи одеяло, подмигнула мне — вы тут побалакайте, а мне нужно идола гарсона

найти, чаю велеть подать и еще в город по делам сбегать.

Она подмигнула мне еще раз и выбежала.

Опять воцарилось молчание. За тонкой стеной визгливый женский голос отчитывал какого-то Гастона... Где-то жалобно плакал ребенок.

— Как ты думаешь — простит когда-нибудь? — прошептал Андрей. Я пожала плечами. — Так вот лежу, смотрю на дверь, знаю, что не может быть, а, все-таки, надеюсь, вдруг она, Наташа... все-таки... простит... — как бы в забытьи сказал он, не сводя воспаленного взгляда с двери.

Передо мной встало хитрое, на что-то решившееся лицо Марфуши. И это ее таинственное исчезновение... Я тоже начала надеяться.

Наконец, появилась Марфуша. Как бы не замечая нашего разочарования, она поставила на стол поднос, налила чай.

— Ирод гарсон опять холодный подсунул. А еще — ах, шери, для вас все... И ущипнул. Я его, лядащего, так огрела — второй раз не сунется... Пейте чай, пока совсем не остыл.

Андрей покачал головой и повернулся к стене.

— Ну, и прекрасно, и поспите. Вам это оченно даже пользительно, — что-то черезчур бодро сказала Марфуша. Потом сделала мне знак, и мы с ней вышли в темный коридор.

Гарсон прошел мимо нас, размахивая грязной салфеткой. На его гордой галльской щеке алел отпечаток крепкой русской марфушиной ладони.

— И ничего хорошего не вышло, — скороговоркой зашептала Марфуша, — я уж ей привираю, прости Господи, что уж так плох, так плох, уж не дотянет и до завтра, а она — и пусть, говорит, какое мне дело, каждый день много людей умирает. А Андрей, говорит, мне теперь хуже, чем всякий чужой.

— Что же нам делать теперь, Марфуша?

— И вот уж сама не знаю. Риен, риен не знаю. Риен. А теперь и вы уезжаете, и мне-то ведь работать надо... В больницу, что ли, его перевезти?

— А что доктор говорит?

— Ну их к бесу, докторов вабче, а французских особо. Ничего не понимают. Понимают только франчки забирать да глазами хлопать. И какой же француз в русском человеке что поймет? Риен. Жаме. И тьфу!

Тихо, на цыпочках, вернулись в комнату. Андрей все еще лежал к нам спиной. Мне показалось, что его плечи тряслись. Впрочем, в комнате было так темно от противоположной серой высокой стены.

И вдруг в дверь тихо постучали. Я встрепенулась.

— Войдите!

Наташа была без шляпы, на плечи был накинут тот же старенький теплый платок. Андрей приподнялся на локте. Кто из них был бледней, трудно сказать.

Марфуша стояла и всхлипывала, зажимая рот ладонью.

Наташа медленно, с усилием, подошла к кровати. Остановилась.

Андрей что-то хотел сказать, но губы его так тряслись, что он не мог вымолвить ни слова...

Она присела на край кровати, нагнулась и прикоснулась губами к его лбу.

МИЗЕРИЯ

Рождественский рассказ

В комнате пахнет елкой, пряниками, теплым тестом, одним словом — Сочельником. Но, когда-то в детстве, радостно волновавший, запах наводит теперь на Ирину уныние.

Нервная, худая, как бы вся состоящая из острых углов, преждевременно поблекшая, она сидит за столом и исписывает тоже острым почерком страницу за страницей толстого дневника.

«Мизерия, сплошная мизерия. Еще один беспросветный, одинокий Сочельник на чужбине. В настоящем нудная работа за гроши, в будущем — мрак. О прошлом лучше не вспоминать. Никого своего, родного во всем равнодушном, эгоистическом мире. Никому нет дела до меня, каждый занят своими делишками. Если со мной что-нибудь случится здесь, в этом заброшенном доме, то никто не прольет ни слезинки. Приедет австрийская телега и лошади рысью свезут мои останки в наскоро сколоченном ящике на кладбище. Зароют за оградой кое-как и будут при этом ворчать, что некому даже заплатить им за работу»...

Слезы все чаще капали на бумагу. Ирина оглянулась в поисках платка. Увидела жидкую и довольно кривую елочку, вставленную в цветочный горшок, украшенный фестонами из разноцветной бумаги. «И

эта убогая елка. К чему я затеяла? Только еще больнее. Сплошная мизерия».

В дверь раздался резкий, властный стук. Не дожидаясь ответа, в тихую комнату врывается доктор Иванов, заполняя ее всю без остатка.

— Так и думал. Сутулится над дневничком, занимается самоковырянием и прочей вреднейшей ерудной. Сколько раз твердил, так не только не вылечитесь, а, напротив, сведете себя в преждевременный гроб. Бодриться надо, вот что, а не вешать нос на квинту.

— Я не могу бодриться, когда моя жизнь сплошная мизерия.

— И не слушал бы, ей Богу. Затвердила слово, которого и не существует вовсе в русском языке. Впрочем, мне не до диспутов сейчас. Понимаете ли, у Гавриловых катастрофа. Жена свалилась, боюсь — надолго, а то и... Муж повез ее в больницу. Скверная штука. А детвора сидит дома некормленная, беспомощная, в холодной конуре. В довершение бедствий, их хозяева к дочери уехали гостить. Во всем доме ни души. Мерзейшая, как видите, комбинация. А у меня времени нет, больные ждут. Надевайте пальто и прочую штукенцию и идемте. На вас — вся надежда.

Ирина привскочила, как ужаленная, изображая и лицом и заломленными руками гневный протест. — Ни в коем случае! Я так устала. Так расстроена. И в такую погоду. Да я понятия не имею, как надо с детьми обращаться. Нет, нет, нет!

— Да. Да и да. Научитесь. Невеликая премудрость. Женский инстинкт подскажет. Усталость — вздор. А для грудного младенца я уже там питье приготовил.

— Как?! Еще и грудной? О, мизерия. Я никогда еще бэби на руках не держала. Уверена, что немедленно вывихну ему ручку или ножку или и то и другое вместе. Нет. И это все — в Сочельник!

— Вот именно, в Сочельник особенно жалко беспризорную мелюзгу. Ну, живенько, влезайте в пальто. Да не машите, черт возьми, руками, как ветряная мельница, иначе их не вкрутишь в рукава. Прямо мож-

но подумать — быка на заклание волоку, а не женщину на святое дело помощи ближнему.

— Это... это хуже заклания. Это насилие. О, как стучит мое бедное сердце...

— Младенец еще полбеды. Лежит себе да орет. А вот Мишка — похуже. Этот маленький, но удаленький бандит всюду свой нос сунуть должен. И в огонь, и в кипяток. Уверен, что он уже успел там пожар наделать, пока я вас тут уламываю.

— Боже мой, бандит, пожар... Нет, доктор, умоляю вас, найдите им сиделку, сестру, я за все заплачу, только оставьте меня в покое.

— Как бы не так. Я уж пробовал — никого не нашел. Ну-с, платок на голову, калоши на ноги. Тушите свет. Запирайте келью. Марш вперед!

— Но мое сердце, — прошептала Ирина уже за дверью — вы меня уморите.

— Напротив. Верну к жизни. А что у вас есть сердце — знаю, потому и примчался к вам. Осторожно, не лезьте в сугробы зря.

Он уже тащил по пустынной дороге спотыкающуюся от волнения и ухабов жертву.

— Так-то лучше. Чем одной, как сыч, сидеть и оплакивать себя — займитесь нужным делом. Машенька, старшая девочка, вам поможет. Очень толковый и не по летам развитой ребенок. Ну, в чем дело опять? Почему вы запрыгали, как ворона на снегу?

— Сыч... Ворона... Спасибо за милые сравнения. Неужели вы не видите, что я потеряла ботинок, да еще с калошей вместе. О, мизерия... — прошептала Ирина трясущимися губами.

Но безжалостный спутник еще крепче сжал ее острый локоть, перешел с быстрого шага на резвую рысь.

— Вот и дошли. Видите на пригорке домишко? И, как ни странно, Мишка подпалить его еще не успел.

Они приблизились к оконцу, из которого пробивался тусклый свет.

— В порядке, кажется, — философски констатировал Иванов, переводя дыхание.

— В порядке? Разве вы не слышите — бэби плачет, задыхается, — вскричала Ирина, вырвала свою руку и, вихрем промчавшись по сеням, остро пахнущим сыростью и навозом, рванула дверь.

На краю широкой деревянной кровати сидела маленькая девочка, склонившись над чем-то крошечным, захлебывающимся.

При виде Ирины, она озабоченно затрясла своими косичками: — Не понимаю. Лялька даже свою любимую цуцлю выплевывает, значит, больна.

Она снова нагнулась над ребенком, стараясь всунуть соску в дергающийся ротик.

— Доктор, да помогите же! — гневно закричала Ирина, поворачиваясь к ухмыляющемуся спутнику, — она, вероятно, иголку проглотила, или... или...

— Вернее — просто мокрая, пеленки переменить надо, — спокойно сказал доктор, направляясь не к младенцу, а к белобрысому всклокоченному малышу, орудующему в углу топором.

— Мишка, сейчас же положи на место топор, гангстер ты этакий.

«Гангстер» отложил нехотя топор, встал, подтянул сползавшие штанишки, оглянулся и бодро взялся за пилу.

— И это оставь. Подай мне, лучше, плетку, она мне очень нужна. Так-с... Вон там в бутылке молоко. Согреете до нормальной температуры. Маша, прибери комнату, тут у вас сам черт ногу сломит, такой беспорядок. Печку затопить надо, ну, и там все прочее. А я пошел, и так всюду опоздал. За дело, за дело. Ну, я побежал.

— Нет, вы сначала мне объясните... Боже, я с ума сойду — с отчаянием произнесла Ирина.

— Напротив, наконец за него возьметесь. Давно пора. А я постараюсь зайти позже. Голову выше.

Он ушел. Вместо того, чтобы последовать его совету. Ирина опустила голову и залилась слезами. Но ненадолго.

— Не леви, выполю, — сказал Мишка, деловито опрокидывая ведро с помоями.

— Ничего, тетя, не плачь, мы с тобой вместе все сделаем, — сказала Маша, несмело кладя ей на колено худую ручку, — только бы Лялька замолчала.

Ирина вскочила. — Да, но сначала печку затопить. Тут у вас так холодно. Застудим ребенка.

Сбросив пальто, она присела на корточки и начала растапливать печь, приговаривая: «он сказал — молоко до нормальной температуры. Но что для взрослого нормально, то для бэби может быть смерть. О, мизерия... Почему нас учили всяким ненужным вещам, а таким важным — нет».

— А я знаю. Ты приложи бутылочку к своими губам. Если не жарко и не холодно, значит, нормально. И ты, тетя, не волнуйся, не торопись, — посоветовала Маша, снимая с веревки какие-то тряпченки.

— Да, — сказала Ирина, убедившись, что печка горит, и отойдя от нее—ты права, Машенька, волнением делу не поможешь. И все это просто, очень просто, — тут она приостановилась, — вернее, не так-то просто, но нужно, и я все сделаю. Да. И докажу, что я могу быть молодцом.

Она высоко подняла голову и начала командовать голосом, которому бы позавидовал любой полководец во время неравного боя: — Маша, подержи пеленки перед огнем и дай мне! Миша, посиди хоть полчаса спокойно!

— Нет. Не хоцца спокойно, — ответил предприимчивый молодой человек, пытаясь вытащить из печки горящее полено.

— Миша!

Никакого результата. Тогда, вдруг изменив тон с повелительного на самый что ни на есть льстивый, Ирина сказала — если ты будешь хорошим, послушным мальчиком, то что-то за это тебе будет.

— А цто буди-ит? — осведомился молодой взяточник.

— Это сюрприз. Что-то очень, очень хорошее.

Мальчик посопел, подумал и присел на кровать, смотря на нее явно недоверчиво.

Ирина подошла к ребенку, откинула мокрое одея-

ло. Приподняла крошечное тельце, пахнущее кислой теплотой, завернула его в согретые пеленки. Руки ее делали свое дело с неизвестно откуда взявшейся ловкостью и точностью.

Ребенок лежал на ее коленях белым сухим коконом. Губки его, подергавшись жадно, впились в резинку бутылки. Пухлые ручки делали кругообразные, все более ленивые, блаженные движения. Щелки глаз косились на Ирину, как ей казалось, благодарно и доверчиво. Незнакомое доселе острое чувство нежности все больше охватывало душу Ирины. Счастливо, даже блаженно улыбаясь, она поднимала все выше пустеющую бутылочку.

— Сейчас заснет, — прошептала Маша опытным голосом, — хоть и таращится еще, но это уж так просто, играется.

Она деловито взялась за облезлую метлу и начала скрести ею по корявому, грязному полу.

— А мине кусать хоцца и елку тозе хоцца, — громко возвестил Мишка, стоя на широко расставленных ногах и ковыряя в носу.

— Оставь нос! Он и так у тебя кирпатый — приказала Маша.

— Ты сама килпатая дулисца, — огрызнулся он, свободной рукой колотя ложкой по тазу, — у всех елки есть, только у нас ни елков и ницаво.

— А у нас и в самом деле ничего нет, — философски сказала Маша, — немножно картошки и черного хлеба. Есть молоко, но оно для Ляльки. А лавки уже закрыты, да и денег у нас нет. Ну, ничего...

— Не ницего, а цего — заорал Мишка и залился самым настоящим ревом.

— Тссс... Разбудишь сестру.

— Нет, раз уж заснула, так ее не разбудишь, — сказала Маша, поднимая облако пыли.

Ирина с величайшей осторожностью высвободила свой палец из крошечной ручки, чмокнула ее и положила на пеструю перину. Вздохнула с легким сожалением, потом сказала — а теперь мы займемся нашим ужином. Я, кажется, что-то придумала.

Две пары глаз воззрились на нее выжидательно.

— Говоли школей, — приказал Мишка, в число немногих добродетелей которого отнюдь не входило терпение.

— Вот что: у меня дома есть и колбаса и хлеб, и масло, и яйца и шоколад, и елка.

— А ты не влешь?

— Нет. Всякие вкусные штучки есть. Если вы обещаете ждать тихо, смирно, особенно ты, Михаил, то я сбегаю домой и все принесу сюда. Но вы должны дать мне слово, что будете паиньками.

— Обещаем, даем. Вот крест, ей Богу, — быстро сказала Маша, крестясь на икону и блестя загоревшимися глазами.

— А ты, Михаил? Тоже будешь тихо, как мышка?

— Ды, ну ды, только ты школо.

Накинув на плечи пальто, Ирина побежала домой.

Вернулась нагруженная, как мул. Остановилась в дверях с раскрасневшимися щеками и белыми от снега волосами. Дед Мороз, да и только... В одной руке корзинка, битком набитая, в другой елка, за спиной рукзак.

— О-о-о-! — раздался восторженный возглас из двух детских ртов.

Позже Ирина сидела на кровати, опять держа на руках благополучно выкупанную Ляльку. Собственно говоря, это было лишнее — ребенок спал, но как откажешься от блаженства укачивать его и мурлыкать колыбельную песню, чувствуя, как тепло маленького существа передается ей, доходит до самого сердца...

Рядом прикурнул Мишка, ошеломленный сытным ужином, теплотой, горящей елкой, лениво дожевывая уже обезглавленного пряничного Дела Мороза, не отрываясь смотря на «тетю» и ожидая все новые сюрпризы.

Маша кончила мыть посуду, пододвинула табуретку к ногам Ирины, села и положила русую голову к ней на колени, рядом с Лялькой.

— Я люблю тебя, Машенька, — сказала Ирина, нагибаясь и целуя ее, — и мне так хорошо с вами здесь...

— Мине тозе халашо, но я вон того ангелочка слопать забыл, — сонно сказал Мишка, указывая на висящую на елке фигурку.

— Что ты! Ангелочков нельзя есть, это грех. Они нас охраняют, — сказала Маша укоризненно.

— Так он шладкий. Я его уже лизнул.

Много позже, с трудом волоча усталые ноги, доктор Иванов приближался к дому на пригорке.

На душе у него было смутно и тяжело. — Опять не удалось всех больных обойти. Так тебе и надо, бобыль старый, Дон Кихот Дипивский. Ведь знаешь, что один в поле не воин, что силы сдают. Что так вот скоро и протянешь ноги, свалишься, и некому будет даже глаза тебе закрыть... Свою жизнь не смог, не успел устроить, а за чужие дела берешься... Вот и бедную Мизерию в историю втравил. Воображаю, в каком она отчаянии. Да еще в Сочельник...

Проклиная себя и неслышно ступая по рыхлому свежему снегу, он подошел к тускло светящемуся окну, прильнул к стеклу, готовясь увидеть самое трагическое.

И, вдруг, на красном от мороза обветренном его лице появилась блаженная улыбка.

— Я так и знал, — громко сказал он, ударяя рукой по лбу, — я ведь давно знал, старый дурак.

Он ворвался в тихую комнату, подошел к девушке, обнял ее за худые плечи, повторяя все те же бессмысленные слова — «я так и знал».

Но она поняла его. Подняла на него просиявшие глаза и прошептала — Я знаю... тссс... я знаю...

— И я тозе знаю — прервал ее заспанный голос Мишки.

Он встряхнул всклокоченной головой, хотел еще что-то сказать, но не успел. Повалился на постель и заснул, безмятежно посапывая...

«РЫС»

Рассказ эгоиста

Слонялся я как-то по нашему «лагерному проспекту» «под вечер осени ненастной».

Мокрая глина ботинки облепила, последняя зелень на кустах, как мокрые тряпки, повисла... И настроение у меня было подходящее. Да и откуда другому взяться. Перспектив на лучшее будущее никаких, денег в кармане мало, забот и неприятностей зато хоть отбавляй.

Устал я. Хотелось бы прилечь, подремать. Да уж очень-то «домой» не тянет. Там, на нижней койке, старуха свернулась калачиком и тихонько скулит, что ее в Америку к дочке и внукам не пускают. А на другой инвалид сидит, левой уцелевшей рукой все Георгиевский крест поглаживает и все об одном и том же и думает и говорит — «никому теперь не нужен. Все меня забыли... забыли»...

Сами понимаете, от таких сожителей бодрости не наберешься. Напротив — свою последнюю растеряешь. И что тогда? Нельзя...

Грешным делом потянуло меня набраться искусственной бодрости — ну, выпить пару рюмок водки с закуской подходящей. Сразу теплее на душе станет...

Подошел я к лавочке нашей, предвкушая удовольствие. Смотрю — а там девченка лет шести стоит

около «витрины». И своим носом к окну прилипла до того, что кончик этого самого, с позволения сказать, носа побелел.

Я старый холостяк и недаром слыву закоренелым черствым эгоистом. Такой я и есть. И ко всяким сентиментам равнодушен в высшей степени. А к детям равнодушен даже более того — раздражают они меня.

Ну, смотрю на эту и думаю — на сладости всякие смотрит. На леденцы подозрительно яркие, на пирожные, вокруг которых мухи танцуют.

Нет, не в это ее большие серьезные глаза впились, а в прозаические вещи — муку, сахар, макароны, консервы мясные.

Ну — заговорил с ней. Уж очень вдруг любопытно стало, что же именно так всю ее поглотило.

Не удостоила ответом. Молчит и смотрит.

Ну, не удержался я. Сгреб, понимаете ли, ее в охапку, втащил в лавченку и говорю — выбирай, что хочешь. Покупай. А я заплачу. Ну...

Понукать мне ее пришлось довольно долго, пока она, наконец, рот свой комический открыла и изрекла лаконическим басом «рыыс».

Я, конечно, ни бельмеса не понял. Но продавец понятливее оказался. — Барышне рису захотелось, — объяснил.

Я думал — не может быть. Стал ей на карамельки указывать, на яблоки, вообще на вещи, более привлекающие. Но она опять своим неожиданным басом «рыс» и кончено.

Ну, купил я ей этого «рысу», еще что-то и купил бы больше, да денег наличных не хватило. А в кредит у нас не давали. Да и девченка сказала деловито — «хватит». И стала сползать на пол с моих рук.

Продавец улыбнулся слаще своих леденцов. — Экономная девица. Будущего мужа не разорит.

Она снизу, с пола, но как-то все-таки свысока на него покосилась и промолчала. Решительным жестом надвинула на глазищи свои по-бабьи повязанный платок, шагнула к прилавку тонкими, как спички, ногами и начала собирать кульки.

Продавец протянул ей яблоко — «пешкеш». Взяла, небрежно сунула в карман кацавейки, вся поглощенная тем, как бы удержать в руках пакеты.

Я предложил помочь донести их. Но она мою, неизвестно откуда взявшуюся, галантность отмела одним словом — «сама». И видно было, что подумала — так то вернее будет.

Вышли мы из лавки так же степенно, как и вошли.
— Ну, говорю, — иди домой наслаждайся своим рысом.

Повторять не пришлось. Отскочила, забыв всю свою надменную степенность. Побежала. Потом вдруг остановилась, повернулась ко мне.

Ничего не сказала. Только улыбнулась. Если бы вы только видели, сколько радости, благодарности было в этой улыбке.

Потом стремглав понеслась по «проспекту» нашему. Скрылась.

Вот и весь эпизод.

Никакой водки я не купил. Денег не было, да и надобности в искусственном подбодрении тоже.

Вот тебе и раз — и с чего бы, кажется. Вспомнил я легендарную старуху, которая на Страшном Суде гордилась, что она «луковку нищему подала». Она луковку, а я кулек «рыса»... Захотел девченке, почему-то, подарок сделать, а оказалось — сам получил.

Ну, вернулся в свою конуру, рассказал о своей девице... И, представьте себе, даже инвалид заулыбался. И говорит: — Это вы совсем по Достоевскому...

Я даже рот открыл. — Почему? Причем тут Достоевский?

А он потянулся к самодельной полке над койкой, взял потрепанный том, открыл, перелистал и стал читать неверным от волнения голосом:

> ... «И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в

силах, над слезами человеческими будем смеяться и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу пострадать за всех людей», — и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай Бог, но как вспомним про то»...

... «то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту»...

Я невольно усмехнулся. — Вы уж очень хватили. Сходство находите...

«Пусть усмехнется про себя, это ничего» — продолжал инвалид, весь под влиянием слов любимого писателя, — «человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

ЗАЙЦЫ, БАЗАР, ПОБЕДА

Весной 1945 года мы — тогда жители Вены — опять очутились на первоначальных позициях двадцатых годов.

То есть, опять потеряли весь скарб в поспешном бегстве куда глаза глядят.

Нам всем было на 25 лет больше, чем тогда, т. е. больше опыта, но меньше сил. И все-таки кое-как рассовались по лагерям и стали ди-пи. Судорожно стали вспоминать — что мы делали в двадцатом году, чтобы просуществовать.

Вспомнили. В лагерях повесили над койками иконы. Помолились. Начали шить друг другу платья, играть на балалайках, читать доклады. Шляпок мастерить не пришлось — теперь носили больше платки. И стали делать, конечно, игрушки.

Игрушки эти сначала получались неважные, а то и просто жуткие. Из уцелевших лоскутков художественную вещь не создашь. Куклы получались плоские, безносые, наряженные в рубища... Мишки и собаки — худые, несчастные... Лучше обстояло дело с зайцами. Во-первых — их можно было шить из серо-бурых одеял, во-вторых это было неограниченное поле для творчества. Купит один у другого зайченка, вспорет ему брюшко, по получившейся выкройке скроит, сошьет, приоденет. А чтобы не уличили в плагиате — можно слегка изменить; например — сделать одно

ухо длиннее другого, или глаза — пуговицы другого размера. Похож, да не совсем. Бери патент, фабрикуй!

Итак — набросились дружно на зайцев. Прямо эпидемия началась. Зайцы, зайчихи, зайчата — тирольцы, русские, американцы. Зайчики в кокошниках и без, в сарафанах и без, а иногда просто голые, но с выразительными глазами-пуговицами.

Часто получались они не ладно скроенными, да и не крепко сшитыми — хороших ниток тоже не было. Не беда. Самых корявых, неудачных тут же выменивали на продукты (внутренний рынок), а удачных тащили на комиссию в магазины (внешний рынок).

Там, кроме своих австрийских зайцев, тоже почти ничего не было. Так что конкурентов брали неохотно. Возвращали охотнее и запыленнее. Освежали их, как могли, и пускали дальше в оборот, где и за сколько могли.

Признаться — я этих зайцев возненавидела остро на всю жизнь. Но так как они — все размножались — надо было помочь сбывать их. Но как?

Думала, ломала голову и, наконец, придумала.

А именно — учтя обычай иностранцев одаривать друг друга на Рождество хоть чем-то, особенно, если это что-то дешево, я решила устроить в Зальцбурге большой Рождественский базар.

Последние годы, живя в Вене, я устраивала такие базары там. Исключительно отзывчивый владетельный князь Лихтенштейна давал нам безвозмездно большой зал в одном из своих венских «экстерриториальных» дворцов, и при этом с освещением, отоплением и прислугой в придачу.

Русские эмигранты выставляли на продажу всякие изделия рук своих и не своих. Иностранцы — точнее, хозяева страны австрийцы, — покупали. И все были довольны.

Раз такое предприятие имело успех в Вене и даже отмечалось с похвалой в местной прессе — почему бы не устроить и в Зальцбурге такой же «традиционный» базар? И сплавить заячьи полчища...

Конечно, на пути стояли, казалось бы, непреодолимые препятствия — в виде разрешения от американцев — это была американская зона — и от хозяев-австрийцев. Надо было также найти в прелестном, но пострадавшем от бомбежек и до предела забитом спасавшимися из советской зоны беженцами городе подходящее помещение. И не какое-нибудь, а хорошее, «чтобы не потерять престижа», которого, впрочем, не было.

Кроме того — получить разрешение на вывоз-ввоз все растущих экспонатов в виде зайцев из всех частей Австрии.

Надо было также предупредить зайцеделов, чтобы они еще лихорадочней их разводили.

Так или иначе, скачка с головоломными препятствиями началась. Поезда тогда ходили редко и не аккуратно, опаздывая часто на 6-8 часов, а то и больше. Как на зло, важные для нас поезда и уходили отсюда и приходили сюда ночью, выбрасывая усталых, заспанных людей с огромными коробками.

А помещения для выставки все еще не было. Все неразрушенные или полуразрушенные дома были заняты, особенно, конечно, дворцы.

А мне так хотелось доказать хозяевам страны, что мы не бездельничаем здесь, как тогда иногда о нас писали, что мы умеем организовывать, создавать. И что нищенское прозябание в бараках — явление для нас случайное.

И вот я нашла и получила на два дня три больших двухсветных зала в «Глокеншпильхауз» — историческом дворце на площади Моцарта в самом центре Зальцбурга.

Уже были напечатаны приглашения — сколько трудов стоило найти приличную для них бумагу. Разосланы, розданы, развезены, разнесены. Уже кругом красовались ящики, кульки, мешки с экспонатами. И среди них кроме, конечно, всевозможнейших зайцев, были и неожиданно прекрасные вещи — скульптуры, картины, изделия из дерева, чемоданы, утюги...

Я возликовала, убедившись, что в короткое время,

в невероятно тяжелых условиях, без необходимых инструментов, — русские люди сумели создать столько хороших вещей.

Мы все уже предчувствовали большой «материальный и художественный успех», который поднимет настроение ди-пи, даст им возможность «стать на ноги» и поднять голову...

И вдруг за три дня до «открытия» я получила короткое, но выразительное сообщение от зальцбургских властей, что они аннулируют свое разрешение, потому что им самим необходимо это помещение для неожиданной важной сессии Ландтага. Вручена мне эта бумага была в очень драматических условиях. Представьте себе комнату, полную до отказа людьми и кульками.

— Ну, — бодро говорю я, кажется, теперь все в порядке.

И в ответ — молча протянутое письмо с казенной печатью. Я вскрываю его. Читаю. Перечитываю. Опускаю руки и поднимаю глаза. Встречаюсь взором с массой глаз разнообразной формы и цвета, но с одинаковым выражением отчаяния и растерянности.

— Вот так камуфлет, — говорю я. И, как прорвавшаяся плотина, все начинают говорить одновременно. «Что же теперь делать?» — «Разосланные приглашения» — «Собранные вещи», «Затраченный капитал», — «Заготовленные зайцы», — «Все пропало», и так далее и так далее...

Я села, вернее упала на узкую кровать, покрытую серым одеялом (как только его тоже не искромсали на зайцев), и попыталась «сохранить лицо», что, боюсь, мне плохо удалось.

Кругом возгласы отчаяния все разростались. Чей-то голос предложил пари — что все пропало, что ничего сделать нельзя. И вдруг один, один единственный голос бодро заявил: «Принимаю пари. Уверен, что Елена Васильевна что-нибудь придумает, спасет положение. Вот увидите».

Этот голос дал мне силы броситься в неравный бой. С вражеской стороны многотысячные местные жите-

ли, вооруженные недоброжелательством к этим иностранцам, «вырывающим последнюю картошку у них изо рта»; с другой стороны — кучка ди-пи, с командой разведчиков из тряпичных зайцев, обезоруженных и судьбой и людьми до предела...

Я вскочила, закричала: — У меня есть план (его еще не было), — Я сейчас пойду — (куда?) — и вернусь — (откуда?) — с победой — (какой?).

Не дав им протестовать и разочаровывать меня, я козырем выплыла из комнаты.

Впрочем, бредя по улице в промоченных ботинках, я свой козырной вид скоро потеряла.

Была пурга. Снег с дождем пополам проникал во все поры, мешал видеть, слышать. И все-таки я решила пойти к человеку, пославшему роковой отказ.

Надо торопиться, каждая минута дорога. Путь был дальний. Автобусы и трамваи не ходили. Такси не было.

Пришлось долго идти пешком. Казалось — сил не хватит. Свалюсь. Все-таки дошла... Нашла.

На высокой массивной двери красовалась выразительная надпись «Вход воспрещен».

Я постучала раз, другой и вошла, решив, что все формальности были соблюдены. Очутилась в большом внушительном кабинете... Ковры, картины. И калориферы, испускающие живительное тепло.

Впрочем, они были единственными, испускающими тепло. Ибо человек, сидящий за письменным столом с гнутыми ножками, излучал все, кроме тепла.

— Вы умеете читать?? — осведомился он голосом, вполне гармонирующим с выражением его лица...

Я пять или шесть раз кивнула головой, доверяя ей все-таки больше, чем высохшему от волнения языку

— Так, значит, вы прочли надпись на двери?

Я опять кинула головой, опуская глаза вниз, и увидела с ужасом, что мои тирольские подбитые гвоздями сапожищи оставили на чистейшем бирюзовом ковре изрядную лужу.

— Значит — прощайте.

— Здравствуйте, — ответила я, — Грюсс Готт. Выслушайте меня. Прошу Вас. И тогда через минуту я уйду. Обещаю.

По понятным причинам я не стала дожидаться его ответа, быстро подошла к столу, присела на самый край шелкового кресла, оставив и на нем, как я увидела потом, изрядное пятно от промокшего пальто.

Бессвязно высказала все: наши надежды, приготовления, работу, расходы, главное — надежды... И вот теперь — отчаяние.

Под конец, признаюсь, пришлось стряхнуть украдкой несколько слезинок.

Он призадумался. Я подбодрилась. Чем дольше он думал, тем больше я подбадривалась.

Наконец, он почиркал на бумаге и сказал мягко:

— Хорошо. Можете устраивать ваш базар. А заседание Ландтага мы...

Но меня не интересовала судьба их заседания. Я вскочила, поблагодарила его горячо. «Грюсс Готт», сказали мы дуэтом, и я поспешила убежать, чтобы он, чего недоброго, не передумал бы...

Так состоялся наш Рождественский базар в Зальцбурге в декабре 1945 года в чудесных залах дворца.

И не только просто «состоялся», но и прошел в самом деле блестяще. Да, да. У меня хранится положительный отзыв о нем в местной австрийской газете.

Были живые цветы, и полуживые, но гордые успехом устроители и участники.

Сияли огнями не только зажженные люстры на потолках, но и канделябры на столах... На них, на вышитых скатертях, красовались «экспонаты»...

Было много очаровательных русских женщин, умеющих принарядиться, создать из ничего изящные наряды.

И, главное, самое главное — были раскуплены не только картины, скульптуры, вышивки, но и, представьте себе, почти все зайцы...

Уже в первый день было много постетителей. Но

на второй и последний, в воскресенье, стало делаться тесно... Даже угрожающе тесно.

Дело в том, что из всех окрестностей понаехали свои, русские. Многие не только с детьми, но и с кульками с провизией. Все они старались протискаться поближе к эстраде, где предполагались выступления артистов из своих.

Через их головы я видела «знатных иностранцев» — вершителей дипийских судеб — и среди них наших хозяев-австрийцев, тщетно пытающихся попасть в главный зал.

Не долго думая — времени не было — я вскарабкалась на высокую эстраду и, извинившись перед иностранцами, обратилась к своим по-русски. Не помню точно, что я говорила, но общий смысл был — мы сегодня здесь хозяева. А по русскому обычаю полагается гостям лучшие места. Почет. Потому прошу вас, хозяев, уступить передние места в этом зале нашим гостям. Чтобы они смогли послушать наших артистов, посмотреть на выставленные нами вещи. А самим пока пройти во второй зал.

Поймут? Уйдут? Спасут или нет? Была минута колебания. Потом — началось отступление. Я крикнула «большое спасибо» вслед им, чутким, потянувшимся назад с детьми, колясочками, кульками. Да еще улыбавшимся радушно, приветствуя гостей...

Уже на эстраде появились балалаечники в русских рубашках, заиграли, запели... Я отошла в угол, чтобы, наконец, начать гордиться.

Но не тут-то было. Ко мне подскочил карапуз лет шести в ярко голубой рубашке, пузырящейся на богатырской груди, и в ушастой капелюхе на белобрысой головешке. Остановился передо мной, руки в боки, ноги — циркулем.

«Тетка, а тетка, ты хитрющая... Всех разогнала, вот. А я не разогнался, остался. И теперь всю музыку услышу. И все увижу. Вот. И останусь до самого конца, хоть ты тут лопни. Вот».

Но я, как видите, не лопнула, хотя и была близка к тому. Только не по той причине, на которую намекал мой маленький капелюшник, а от восторга и гордости за своих, за нашу победу в неравной борьбе. А вы сами знаете — чем труднее борьба, тем слаще победа.

ВСЕ-ТАКИ СТОИТ ЖИТЬ

Бывают же такие проклятые дни. С утра сплошные неприятности — мелкие и крупные. И, в довершение всего, — нож в спину.

Хозяин мой, упитанный австриец, с равнодушной улыбочкой выгнал меня. Да еще при этом витиевато изрек: «Патриотизм — говорит — теперь в моей душе взял верх над альтруизмом, и я австрийца на ваше место взял».

Хотел, было, я крикнуть; «Не фарисействуйте. Не из альтруизма вы меня терпели, а оттого, что своего подходящего тогда под рукой не нашлось».

Много еще горькой правды хотелось мне высказать напоследок и, уходя, дверью громыхнуть. Но удержался. Молча поклонился, даже подобие улыбки выдавил на лице и дверь за собой тихохонько прикрыл.

И именно за улыбку эту и за дверь окончательно себя возненавидел и воспрезирал. Вот до чего довели...

Выхожу на улицу — там сыро, ветренно. Зима кончилась, весна должна начаться. А пока что не то снег, не то дождь идет.

Плетусь домой, шлепаю по лужам матерчатыми шлепанцами. Перед глазами мутная пелена, во рту полынная горечь.

Поверите ли — если бы револьвер у меня был, или глубокая лужа передо мной оказалась, именно лужа,

а не озеро какое-нибудь живописное — тут же и прикончил бы с этой унизительной штукой, которая, говорят, жизнью называется...

Сам не знаю, как «домой» в нашу темную, вонючую клетушку около хозяйской кухни добрался.

Жена сразу поняла, что мне не до разговоров. Поставила передо мной подозрительную похлебку и присела на край кровати. Молчит, зябко в шаль кутается и по сухим от жара губам языком проводит.

Только когда я тарелку отставил и за промокшую шапку взялся, сказал этак небрежно, через плечо:

— Ах да, чуть не забыл — я безработным стал. Выгнали...

Она еще плотнее в шаль кутается. — Ну, что-ж, — говорит тихо, да еще улыбается, — Бог даст, другую службу найдешь.

И вместо того, чтобы приласкать ее и даже, черт возьми, поплакать вместе, я ей еще суше, еще небрежнее:

— Не болтай чушь. Сама знаешь — иностранцу здесь никакой работы не дадут.

— Им самим очень трудно сейчас, шепчет. — Выкрутятся. Они у себя дома. Они хозяева. А вот мы с тобой-то уже наверняка пропадем. — И так далее и прочее говорю, остановиться не могу, все обиды ихние припоминаю и чем больше горячусь, тем острее себя и презираю и жалею, а она все ниже голову опускает и молчит... молчит...

Только когда я, наконец, замолчал и к двери пошел, она меня догнала и робко за руку взяла.

— Пожалуйста, — просит, — пойдем на минутку во двор. Я тебе что-то показать хочу.

Неохотно, но все же пошел за ней. Повела она меня в самый угол двора, туда, где еще со времен бомбежек кучи камней, песка навалены. Ну и, конечно, жильцы всякий мусор наворотили.

Наклоняется моя Надя и говорит: — Посмотри — чудо какое.

— Издеваешься ты надо мной, что ли — кричу — уж до того дошли, что я этим мусором восхищаться должен.

А она со своей нежной улыбкой — Да нет же. Сюда, сюда смотри. Нагнись.

Ну, нагнулся и вижу — как бы прорвавшись через всякую дрянь — маленький, плюгавенький цветок торчит. Желтый — прежелтый.

Я его даже за жалкий стебелек подергал — чтобы проверить, не сунул ли его в отбросы какой-нибудь шалун. Нет. Крепко держится и свои, с позволения сказать, лепестки в себя втянул, дурачишка этакий...

— Поду-маешь, мимоза какая нашлась навозная, — говорю и чувствую, что рот мой невольно в широкую глупую улыбку растягивается.

Так и оставил Надюшу на корточках перед этим цветочным подобием сидеть, а сам отправился работу искать.

Ничего не нашел. Опять весь промок, наипоследние шиллинги на автобусные билеты загубил и все-таки, возвращаясь домой, улыбался. Потому что, неизвестно откуда, вдруг надежда появилась. И потому, что я понял, что несмотря на все наши мытарства, на жалчайшее наше прозябание здесь, несмотря на все это — **стоит жить** на свете, и мы **хотим** жить...

И как все кругом — сытые, свободные, довольные и самодовольные — хотим дышать, радоваться небу, горам, весне и цветам. Даже если эти первые цветы и цветами трудно назвать. Так — какая-то помесь маргаритки и одуванчика плюс кое-что от ромашки. Так сказать — цветочные дворняжки. Такие, как наш с Наденькой желтый заморыш, до того корявый, что и названия-то ему, маленькому паршивцу, никто придумать не удосужился.

А ведь смотрите. Топорщится. И к солнцу тянется...

Как равно-пра-авный...

МЕРРИ КРИСТМАС, МИСТЕР ДЖОНС!

Поцарапанный стол, несколько старых стульев, безжалостный дневной свет из большого незавешенного окна.

За столом сидел молодой, рыжий представитель одной из протестантских сект США.

Сбоку примостилась я, взятая временной переводчицей, т. к. все безвременные, то есть, я хотела сказать, постоянные, были в этот день заняты.

Конечно, я очень волновалась. Ведь от этих «интервью» зависела судьба людей, ожидающих в комнате рядом. «Возьмут или забракуют опять?». Освободят от постоянной, напряженной боязни попасть в беспощадные руки врагов, которые их называют «врагами народа»?

Каждый раз, когда я просовывала голову в дверь, вызывая следующих «кандидатов», на меня устремлялись десятки замирающих глаз, надеющихся, все еще надеющихся на чудо.

Да, именно чудо, потому что это были в огромном большинстве пожилые и более, чем пожилые люди, неоднократно забракованные другими представителями других наций.

Молодых, сильных уже разобрали. Они были способны работать еще много лет; и потому оказались «желательными» в такой же степени, как пожилые «нежелательным баластом»...

Некоторых из ожидающих я знала, встречала в лагере. Знала, до чего им важно было получить возможность вырваться. Особенно тревожила меня судьба Ивановых. Семья их замужней дочери с тремя маленькими детьми была отставлена до выздоровления мужа, у которого нашли пятна на легких — подозрение на туберкулез. Сказали — «возьмем, когда вылечитесь», то-есть через много, много месяцев.

Мысль расстаться с дочерью и внучатами была тяжела, но старики слышали, что им будет легче выписать родных уже из США. Кроме того, так хотелось хоть немного помогать им материально, получив работу в богатой, процветающей стране...

Наконец, кончилось ожидание. Они робко вошли и сели на кончики своих стульев. Авдотья, все время поправляющая головной платок распухшими от работы руками с вздувающимися жилами, и Петр, храбрящийся изо всех сил, старающийся выглядеть молодцом и не горбиться. Мне даже показалось, что он неумело подкрасил свои бледные, дряблые щеки, и я усадила его спиной к свету.

Наш рыжий «вершитель судеб» окинул их обоих быстрым взглядом и вздохнул.

— Спросите, сколько ему лет, — отрывисто скомандовал он. Получил ответ:

— 59 лет и одиннадцать месяцев.

— То есть —шестьдесят, — сказал мистер Джонс, опять вздыхая. — Спросите его — сколько времени, по его мнению, он сможет работать, пока не сядет на иждивение принявшей его страны?

Я перевела. Петр пришел в страшный ажиотаж. Даже вскочил с места.

— Я... я заправский плотник. Люблю свою работу... Работал всю жизнь и буду работать, пока жив. Еще долго. Я... я очень сильный... Вот... пощупайте.

Он протянул правую руку, сжал ее в кулак, согнул в локте, как бы приглашая и Джонса и весь мир оценить его мускулы.

Джонс поскреб пером Паркера свои вихры на затылке и воззрился на Авдотью.

Ну, а она как? Что она может делать?

— Авдотья, увидев, что она оказалась теперь в центре внимания, растерянно заулыбалась, не разжимая губ, чтобы не выдать отсутствия нескольких зубов.

— Всякую домашнюю работу. Постирать, погладить. И постряпать, особенно, если не сложные кушанья, — прошепелявила она.

— Первоклассная домработница. Законченная кухарка, — перевела я и прибавила для пущей убедительности: — согласна на любую работу.

Увы, он не оценил. Отмахнулся:

— Так все говорят, пока здесь, а как там будет...

Я схватила обе Авдотьины руки и протянула их к самому веснушчатому Джонсову носу:

— Посмотрите на ее руки. Они сами за себя говорят.

Да, они говорили, да еще как.

Из дальнейшего опроса выяснилось, что «подсудимой» Авдотье всего 56 лет — на вид ей было больше — и что мечта Петра там, в новой, свободной стране, работать на стройке.

— Но если не подвернется работа по специальности, то он готов...

— О, знаю, знаю — на любую работу, — опять ухмыльнулся Джонс и кивком головы отпустил их.

— Мистер Джонс, вы дадите им гарантии?

— Не знаю еще. Посмотрим. Его возраст...

Я прервала его:

— Но вы видели, какой он еще сильный. Я уверена, что они сразу устроятся... Вы же слышали, что они согласны на...

Теперь он прервал меня довольно нетерпеливо:

— Да, на любую работу. Ну, непрошенный адвокат, зовите следующих. У меня мало времени, и я один, а их там еще много.

Прошли дни, недели... Джонс молчал. Я, признаюсь, уже думала, что он забраковал Ивановых. Но вот, под самое Рождество, они получили извещение, что гарантии пришли. Конечно, им предстоял целый ряд

всяких утомительных «скринингов», но это было шагом вперед, гигантским шагом.

Я немедленно помчалась в их угол в бараке, отделенный унровским одеялом. Там, угощая поздравителей домашними мятными пряниками, супруги, растерянно счастливые — строили радужные планы.

***

Много лет прошло с тех пор. Ивановы, попавшие на восточное побережье США, работали, судя по письмам, не покладая рук. Выслужили пенсию «сошиал секьюрити» и даже осуществили мечту жизни — выстроили своими руками маленький, скромный, но свой собственный дом... развели огород и цветник, И, кроме того, помогли приехавшей позже дочери с семьей тоже купить участок земли недалеко от них.

И вот передо мной последнее письмо их дочери. Она поздравляет с Рождеством и пишет, что старики еще молодцом. Что неугомонный Петр все что-то пристраивает и перестраивает в своем доме, а Авдотья угощает всех своими пирогами и портит внуков, теперь довольно-таки великовозрастных, страшным баловством.

Письмо заканчивается так — «мы часто вспоминаем нашу жизнь в лагере и так благодарны всем, кто помог нам приехать сюда».

И тут я вспомнила о рыжем «прокуроре».

— Не знаю, где вы, что с вами, но я бы так хотела. чтобы и вы порадовались за них, как и я.

— Мерри Кристмас, Мистер Джонс!

ПЕРВЫЙ «ДЖАБ»

Еще на пароходе было решено найти работу самостоятельно, никого не обременяя просьбами, и, притом , в кратчайший срок.

Первое решение было продиктовано присутствием самолюбия в душе, второе — отсутствием долларов в кармане.

Приехали, жадно выслушали советы прибывших раньше нас друзей. Услышали то же, что и в Европе: «трудно, но жить можно, если ухватиться поскорее за работу».

Первым делом нам сказали — имейте в виду, здесь нужна узкая специализация. Вас везде будут спрашивать, есть ли у вас опыт — «экспириэнс»?

Так это многозначительное слово впервые вошло в нашу жизнь, чтобы из нее больше не выйти.

Увы, многие из нас готовились широко ко многим возможностям — на всякий случай — и оттого узкой специальности не приобрели. А она была необходима — во всяком случае.

Дни бежали, убегали с ними скудные доллары. Надо было действовать. Но как?

Одна знакомая сказала мне: — Там и там нужны оперейторы. Езжайте завтра с утра, и вас возьмут. Непременно. Сразу схватят.

— Ах, как чудно, но что такое оперейторы? — Это работницы на электрических швейных машинах.

Очень легко и просто. — Но я не имею понятия об электрических швейных машинах вообще и о фабричных в частности.

— Мало-ли что! Научитесь. Ну, с Богом. Езжайте. Если спросят — есть ли у вас экспириэнс, говорите без запинки: «о, йес». Садитесь и строчите.

Рано утром поехала. Думаю, что о моих переживаниях в пути распространяться не стоит. Понятны и без того.

Нашла дом. Вошла в него. Уже внизу негритянка, оперирующая элеватором, осведомилась строго — есть ли экспириэнс, потому что без него лучше и не соваться. Не возьмут.

Ответила — О... о... йес!

В огромной комнате, согнувшись над совершенно непонятными машинами, сидели ряды женщин и молниеносно строчили.

Бррррр... раздавалось со всех сторон, сливаясь в общий адский гул...

Брррр... Движение руки — кусок отброшен, схвачен новый, опять отброшен в корзину.

Круглый потный человек поднял красное лицо от вороха материй, которые он кроил тоже молниеносно.

— Вам нужны оперейторы. Вот я...

— Есть у вас экспириэнс? — (о, это роковое и в короткий срок уже ненавистное слово).

— О, о... йес!

— Где вы работали?

— О-о... Знаете ли... в Европе.

— Значит, ничего не выйдет.

Вычеркнул меня из своей жизни, зазвякал ножницами.

— Дайте мне попробовать!

— Хорошо. Хей, мисс Крыс (или что-то в этом роде) — крикнул он куда-то в соседнюю комнату и убежал, прибавив, — одну минуту.

Нет. Я не дала ему этой минуты. Даже секунды не дала. Оглянулась на ряды женщин. Ни одна из них не подняла на меня своего взора. Не было времени. А

жаль. Мой трагикомический вид мог бы, вероятно, внести разнообразие в их «машинные» жизни.

Подобрав вздыбающуюся от сквозняка и вентилятора юбченку и проведя дрожащей рукой по вздымающимся не только от вентилятора волосам, я шмыгнула в переднюю, заваленную материями, обрезками, окурками, клочьями газет и, прыгая через три ступеньки, вынеслась на улицу...

Кое-как отдышавшись, открыла газету. «Что делать? Надо броситься дальше, но куда?». Увидела объявление агентства, уверяющего, что у него есть «джаб» даже для людей без «экспириэнса». Снова нырнула в собвей, потом пересела на автобус. Понеслась.

Весь пятиэтажный дом на Воррен стрит № 80 состоял из десятков, а то и сотен агентств. В одной из бесчисленных комнат — я чувствовала — найдется что-нибудь и для меня, не обремененной экспириэнсами, но зато большой порцией решимости: выйти оттуда с желанным адресом.

Стены коридоров были сплошь заклеены предложениями работы. Сотнями их. Но... или возраст был указан слишком молодой, или нужен был все тот же экспириэнс.

«Знание нескольких языков?» — «Не нужны». — «Есть ли у вас рекомендация с последнего места?» — «Нет, я только что приехала и»... — «Нет» — «Ничего нет».

Ни у кого не было времени, чтобы более участливо поговорить, что-нибудь посоветовать. Нет — и кончено. Повернутая спина. Такой же лаконический диалог с очередным. И, наконец, уже в пятом и последнем этаже: — Да. Будете одевать кукол. Умеете?

Я громко: — Да! — А про себя: в детстве одевала своих, многочисленных...

— В таком случае — вот вам адрес. Сколько вам лет?

— О... около пятидесяти.

— Значит — шестидесяти еще нет. Езжайте. С вас 10 % с первого месячного жалования — немедленно.

— Но если меня не возьмут?

— Тогда мы деньги вам вернем.

Сама не помню и потому и вам рассказать не могу, как очутилась я за длинным столом. С одной стороны корзина с голыми, но улыбающимися куклами, с другой — ворох воздушных платьиц. По середине — груда английских, как оказалось, весьма острых булавок.

Директрисса сказала — сначала надеть платье, потом капор завязать таким бантом. Платье заколоть двумя булавками на спине — симметрично, аккуратно. Класть их сюда.

Я стала втискивать толстенькие розовые тела своих очаровательных жертв в слишком узкие платья. Булавки кололи пальцы... Два пронзительных глаза директриссы и четыре двух боссов за моей согбенной спиной — нервировали и мешали. Тиская очередную куклу, я вспомнила: так в Европе одевали детей во время ночной воздушной тревоги, когда за стеной выла сирена, призывая людей немедленно в погреба. Так же тряслись руки у матерей и так же, расставив еще одеревенелые от сна ручки, дети мешали процессу одевания...

А, между тем, каждая минута была дорога.

Мои воспоминания были прерваны переговорами за моей спиной. «Ничего, кажется, не умеет», сказал первый мужской голос. — «Да, похоже на то» поддакнул второй. Но женский голос, — директриссы, — слава Богу, вмешался вовремя: «О», сказал он, «мне кажется, умеет. Только ее техника — европейская. Не такая, как наша. Дадим ей шанс».

Директрисса нагнулась надо мной: — Эта партия платьев неудачна. А потому — можете работать медленней. — Чуть заметная, почти ласковая, улыбка осветила ее усталое лицо. Я готова была ее расцеловать даже за такое участие.

В обеденный перерыв поплелась в контору, где девица снабдила меня карточкой. — Простригайте — когда приходите и уходите.

Значит — наняли!

Так началась моя новая жизнь — работницы на фа-

брике. Каждое утро, чуть свет, кое-как проглотив чашку кофе, мчалась к остановке собвея. В одной руке газета, другая судорожно прижимает к груди сумочку — а то, говорят, воруют.

Пересадка на Таймс сквер, потом на Юнион. Две поистине скверные пересадки, потому что, казалось, вся толпа мчится по этому же направлению.

От остановки собвея — рысью к фабрике — облезлой и унылой.

Там много было для меня нового и непривычного. Я жадно впитывала в себя впечатления от первого кусочка Америки, с которым, чувствовала, больше соприкоснуться не придется.

Много было впечатлений жутких, неприятных, но много и хороших. В числе первых — на особом месте стоял «конвейер». Еще бы! Тебе поручается известная часть общей работы. Должен сделать ее вовремя. А то немедленно затормозишь всю линию.

Пока руки лихорадочно стараются успеть сделать и передать дальше — глаза уже видят приближающуюся к тебе очередную куклу...

Но тут, когда я уже была готова кричать «сдаюсь, не успеваю!» — тут, вдруг, озираясь на начальство, следующая за мной молодая негритянка начала хватать моих кукол, быстро проделывать цепкими ловкими пальцами мою работу и немедленно — свою. Спасла. Никогда не забуду.

Как-то в перерыве ко мне подошел молодой порториканец и сунул мне в руку «никель» — монету в пять центов. Я готова была гневно отказаться, как соседка разъяснила: — Берите. Это обычай. У него родился сегодня сын. Он не успел приобрести для каждого, как у нас здесь принято, по какому-нибудь напитку и просит нас купить и выпить за здоровье бэби.

Странно было тоже слышать свое имя, именно имя, а не фамилию. И немного было жаль себя, когда, в перерыве, сидела в маленькой грязноватой комнате для отдыха с бутербродом в исколотых до крови пальцах...

И, все-таки, если бы меня спросили — хочешь ли ты вычеркнуть из своей жизни эти три «кукольных» месяца на Бруклинской фабрике, уродливо торчащей среди пустырей — я бы твердо ответила: «Нет. Ни в коем случае». Хотя бы потому, что отдых после того, как я ушла, казался особенно сладким.

Наслушалась я в перерывах, что каждую из нас могут в любую минуту выгнать, без всякого предупреждения и без объяснения причин. Особенно эта процедура практикуется в конце недели, по пятницам. В одну из таковых я увидела, что в числе некоторых других исчезла с доски и моя карточка. Мне стало обидно: ведь старалась-то как!

Поплелась в бюро получать расчет. Оффисная мисс, протягивая мне мою карточку, сказала: «Вы вчера, уходя, не простригли ее, выходит, что оставались на фабрике всю ночь. Впредь не забывайте».

Значит — не выгнали. Значит — довольны моей работой. О, да. Иначе не стали бы со мной церемониться. О, нет.

Не то, чтобы я полюбила свой «джаб» — но мне было бы очень обидно, если бы сказали — «вот, русская Ди Пи из Европы не справляется со своей такой простой работой. Они не имеют понятия о наших темпах и достижениях».

А вот и справилась... И чем дальше, тем лучше. Хотя я уже знала, что скоро, скоро перестану одевать своих несчастных кукол и уеду...

Мой муж, проработав в лаборатории духов и пропахнув душным, пряным, сладким их запахом с головы до подошв ботинок, получил другую работу в Калифорнии. Совсем другую, интересную и «беловоротничковую». А именно инструктором русского языка в военной школе.

На семейном совете было решено — он поедет один, проработает решающий «пробный» месяц. Если его оставят постоянным — то перееду и я.

Такой план казался жутковатым. Оставаться одной во все еще чужом, огромном, шумном городе было не

очень заманчивой перспективой. Но благоразумие было за такой план.

Муж писал часто и в каждом письме озабоченно осведомлялся о моих куклах. Даже в последнем коротком, в котором сообщил, что оставлен постоянным преподавателем, уже получил хорошую казенную квартиру и «почти обставил ее», то есть купил кухонный стол и два разных стула, он шутливо приписал — «вот только на кого ты кукол оставишь? Это единственный вопрос, который меня беспокоит. А все остальное хорошо».

Да, все остальное было, в самом деле, очень хорошо...

ЛАГЕРНАЯ МАРИЯ МЕДИЧИ

Если нью-йоркский собвей (метро) смахивает на преисподнюю всегда, то в пять часов дня, когда кончается работа на фабриках, да еще летом, в жару, духоту, когда нечем дышать, на Таймс Сквере он превращается в ад и притом кромешный.

Так думала Нина, вися одной — затекшей — рукой под потолком хряскающего и лязгающего вагона и вцепившись другой, истекающей потом, в пышную шляпу с розами сидящей под ней дамы. Пакет с фартуком и другими причандалами для работы, висящий на локте руки, мерно раскачиваясь, то стукался об окно, то о лицо владелицы шляпки с уже смятыми розанами.

Скверная остановка на вышеупомянутом сквере на этот раз казалась бесконечной. Кондуктор, с наружностью если не директора, то, во всяком случае, вице-директора солидного предприятия, доблестно отражал атаку черни. Некоторых отпихивал назад, на перрон, кратким, но выразительным ударом кулака в грудь или спину, других, счастливцев, впихивал коленом внутрь вагона. Эти счастливцы, со стоном облегчения, падали в объятия пассажиров, испускающих уже и без них предсмертные стоны и вздохи. Одним словом, все было, как и всегда, и, значит, — в порядке.

Но тут произошло нечто, приведшее в замешатель-

ство даже мускулистого олимпийца кондуктора. А именно: полная, пожилая дама, втиснув верхнюю часть своего пышного туловища в дверь, пыталась проделать то же с другой половиной, еще более пышной. И так как ее героические усилия затруднялись целым сонмом уцепившихся за нее кандидатов в ад, то есть в вагон, — то она голосила: «Голубчик, кондуктор, помогите влезть. Там внутри мои внуки, внуки. Чильдрен. Смол, смол. Грандчильдрен. Без меня они капут, капут. Шур, шур».

Слово «чильдрен» в Америке священно. Даже для кондуктора. Даже в это время дня. Он резким движением руки отсек от нее живо-хвост и дал сильного пинка в нижнюю часть бабушкиного туловища. Дверь захлопнулась. «Слава Богу. Спасибо. Миша, Гриша, я с вами, тут». Она стала проталкиваться к двум мальчикам в длинных американских холстинковых штанах, но с круглыми русскими рожицами. — Ваш бой укусил меня в ляжку, — мрачно изрек какой-то неприветливый дядя. — Не понимаю, что вы говорите, — приятно, даже лучезарно улыбаясь ответила бабушка, — хоть бы кто перевел. — Он говорит что ваш внук укусил его в ногу, — невольно улыбаясь, сказала Нина.

— А как же иначе дитя малое, беспомощное могло бы протолкаться? — агрессивно сказала бабушка, оглядываясь на Нину, и вдруг, закивала головой.

— Ах, Боже мой, какая неожиданная, радостная встреча. Неужели не узнаете? Вот так так!... Нина взглянула на нее пристальнее.—Ах, Мария Медичи, то есть, я хотела сказать, Марья Сидоровна.—Она самая. Вы должны к нам прийти, — надрываясь, прокричала та и, судя по движению рта, начала что-то быстро рассказывать. Сожалея о незнании азбуки для глухонемых, Нина затрясла головой. Тогда Марья Сидоровна вытащила из объемистого ридикюля бумажку и протянула ее Нине, ладонями отпихивая головы мешающих пассажиров.

— Приходите же. Поскорей. Не потеряйте адреса. И не спутайте — ист, ист, ист, а не вест. Жду! — про-

ревела она и двинулась к двери вслед за внуками, прокладывающими дорогу, судя по судорожным движениям пассажиров, опять не без помощи зубов.

А Нина предалась воспоминаниям. И, хотя вместо заслуженного, блаженного отдыха впереди была жуткая перспектива стряпни, уборки, постирушек дома, а завтра, чуть свет, — снова лязг и грохот собвея, а потом визг и скрежет фабричных машин, — она улыбалась.

Вспомнила живо, как там, в лагере, зайдя к Марье Сидоровне за каким-то очередным «сухим пайком», выдававшемся вместо горячего ужина, застала ее в необычайно подавленном настроении.

— Я больше пайков не раздаю. Отставили. И главной кухаркой тоже не состою. Тоже отставили по проискам этого подлого Кулькова. К нему и обращайтесь, — резко сказала Марья Сидоровна.

— Но почему же? Все лагерники довольны были и начальство тоже?

— Все это было, да сплыло. Мой злой гений Кульков, так же, как и Ришелье...

— Причем тут Ришелье? — спросила Нина, присаживаясь на край койки.

Марья Сидоровна уперлась последним подбородком в пышное, хотя и не первой свежести жабо, а руками в широко расставленные колени и спросила загадочно:

— Скажите — кого из исторических персонажей я вам напоминаю? — Н-не знаю. Впрочем, знаю — никого.

— Странно, очень даже странно, потому что я очень похожа на Марию Медичи.

— На кого-о? — заикаясь, переспросила Нина, силясь вернуть глаза, вылезшие из орбит, на подобающее им место.

— На королеву Марию Медичи. Вот на кого! Да вы, кажется, понятия не имеете о ней?

— Нет, почему же, промямлила Нина, морща лоб, за которым, вдруг, запрыгали тени каких-то Пипинов

Коротких, кровожадных Борджия, воинственных Вильгельмов и Генрихов.

— Да, — ликуя, вскрикнула она, — конечно, Генрих Наваррский женился на флорентийской принцессе ... Марии Медичи. Ну, конечно, на картине Рубенса, не помню в каком музее...

— Музей не важно. Важно — сходство. Ну... — властно прервала Марья Сидоровна, еще горделивее закидывая голову назад.

— Пожалуй... Вы обе Марии, обе толстые, то есть, я хотела сказать, полные. И обе властные. Но она...

— Вы хотите сказать — интереснее? Еще бы — ее увековечил Рубенс, прикрасив невероятно, а меня — даже наш лагерный мазилка Чухряков не удосужился. Но дело не только в наружном сходстве, хотя оно тоже налицо, а дело в том, что моя судьба тютенька в тютеньку похожа на ее трагическую судьбу. Я сейчас вам объясню.

— Но у меня нет времени, в другой раз, может быть, — сказала Нина, приподнимаясь.

— Другого раза не будет. Я, как и та Мария, уезжаю в изгнание. Только она поехала к своей дочери королеве в Англию, а я уезжаю к своей дочери портнихе в английскую зону Австрии. Этот подлый Кульков, эта змея подколодная, пригретая вот тут — Марья Сидоровна провела широкой ладонью по своей груди — так же, как та змея — Ришелье — всякими подлыми путями и доносами добился того, что я отставлена от котла. Ришелье ведь тоже удалось уговорить сына Марии Медичи Людовика 13-го не только отстранить ее от управления Францией, но и выслать за границу. А Кульков, это ничтожество, эта тля, этот слизняк, освобожденный моей властью от чистки картошки и возвышенный мной до места моего помощника по раздаче обедов — действовал еще коварнее, еще мерзопакостнее. Обнаглел до того, что донес начальнику лагеря, что я несправедливо раздаю порции, да и вообще не умею готовить. Это я-то, я, которая научила его халтурить борщ из подзаборной крапивы и тающие во рту котлеты де-воляй из подозри-

тельных остатков. Не говоря уже о лепешках из вульгарной овсянки. И добился своего. Торжествует. А я... я, не в силах перенести унижения, уезжаю. Бросаю все. Но, как и та Мария, я не сдамся. Нет! Я буду и оттуда бороться до конца. И мстить, как и моя трагическая тезка.

— Марья Сидоровна, стоит ли? Там на весах была целая страна, а у вас?

— А у меня целый котел. Поверьте, это тоже удовлетворяет честолюбие, да еще как! Разве вы не знаете, как, стоя в хвосте, умильно-просительно улыбаются люди, как робко протягивают свои посудины в надежде получить добавку. И как умоляют не давать им постоянно капусту и бобы, а изобрести что-нибудь повкуснее... И я душу всю вкладывала в стряпню, весь собственный огород опустошала, всю петрушечку, укроп...

Голос ее оборвался. Она на минуту потеряла свою величественную осанку, сгорбилась и всхлипнула горестно. Но, потом, усилием воли снова выпрямилась и добавила решительно:

— Та Мария подстрекала французов к мятежу, перевороту в ее пользу — сначала из Испании, потом из Англии, а я уж тоже что-нибудь придумаю. Мой зятек не долюбливает меня за мою властность, за то, что я, как он говорит, даже носы внучатам умудряюсь вытирать по своей собственной системе, а не дочерней. Одним словом, как и английский король свою тещу, ту Марию. Но я все стерплю, потому что уверена, если есть справедливость на свете, то мне удастся ее восстановить и восторжествовать над извергом Кульковым. Той Марии это не удалось. Она умерла, всеми брошенная, забытая, не отомстив. Но мне удастся. Вот увидите...



— Удалось ли? — смеясь, спросила Нина, сидя в гостях у Марии Сидоровны и вместе с ней восстанавливая эту историю.

— Вы сначала должны отведать моего пирога. Берите, берите, у нас всего достаточно. Мы ведь все работаем. Дочка и зять днем, а я внуков пасу пока. А ночами убираю разные канцелярии. Платят прилично. Я даже кое-что не черный день отложила, могла бы больше, но...

— Марья Сидоровна, а где ваш враг Кульков-Ришелье? — не выдержав, перебила ее Нина.

— Здесь он. Появился голубчик. Не так давно. Работы пока никакой не нашел, бедствует. В первый раз, как пришел, я его, что называется, мордой об стол встретила. Еще бы, после всех его интриг и происков... Ну, а потом жалко стало. Напоила, накормила, деньжат одолжила. Теперь почти каждый день заходит. И сидит часами.

— Значит — добром за зло?

— Что ж поделаешь? Жалко. Мы уже устроены, как видите, а он еще никак. И вот, когда я у плиты стою и ему борщ наливаю, он конфузится, ежится и отказывается. Мы оба знаем, что победила, в конце концов, я. Но это все так неважно теперь, кажется далеким и смешным сном. В лагере-то, от тревоги и забот — у всех нервы слишком пошаливали, а уж я чуть с ума не спятила. Иначе — не возомнила бы себя Марией Медичи. Смехота, да и только...

А что есть теперь у меня возможность человеку в беде помочь — за это я каждый день Бога благодарю.

Марья Сидоровна улыбнулась добродушно и широко и снова принялась угощать Нину пирогами, ватрушками и коржиками своего изделия.

АНДРЮША

В 8 часов утра большой школьный «бас» увозит в школу маленьких обитателей нашей «деревни». Проводив своих отпрысков свыше пятилетнего возраста и, в глубине души, благословляя существование школ, мамы спешат заняться многочисленными и разнообразными хозяйскими делами.

Все эти дела и делишки никак не хотят принять всерьез папы, очевидно считая, что порядок в квартире, обед, чистое белье и так далее и так далее имеют обыкновение падать с неба на подобие знаменитой манны.

Жены же, по мнению тех же мужей. жалуются по вечерам на усталость то ли от безделья, то ли от плохого характера.

В свою очередь, мамы... Впрочем, сегодня я хочу рассказать об одном из дней одного русского ребенка, а не о том, «как ссорятся все папы со всеми мамами», и потому — к делу. К Андрюше.

Сей юноша переживает всего на всего свое четвертое лето, но к нему очень подходят слова поэта «как мало прожито, как много пережито». Каждое утро он появляется на сцену, то есть на лужайку под нашими окнами, еще слегка заспанный, но уже в высшей степени предприимчивый. На худых стройных ногах весьма заслуженные синие штаны, на светлой головешке картуз, лихо сдвинутый на затылок.

Быстрые, смышленные глаза зорко обозревают свои владения. — Андрюша, с добрым утром! — окликают его из разных окон многочисленные поклонницы, в их числе и я. — Андрюша-а, не уходи далеко, я тебе что сказала! — совсем другим тоном кричит его мама, потрясая на всякий случай многозначительным ремешком.

Он важно шествует дальше, как ни в чем не бывало. Иногда нагнется, что-то поднимет, рассмотрит, сунет в оттопыренные карманы. Он не так давно из европейского лагеря и, по обще-дипивской привычке, не может пройти равнодушно мимо валяющихся кругом «беспризорных» предметов, будь то щепка, ржавый гвоздь или игрушка, небрежно брошенная избалованным сверстником американцем.

Вот стоит чей-то «беспризорный» щегольской трехколесный велосипед. Наш герой мигом очутился на нем, лихо мчится по улице, кишащей проезжающими автомобилями. «Андрюша, осторожнее, раздавят». — «Я не боюсь. Я молодец», звонко кричит он, отчетливо и правильно выговаривая все буквы и слова. — «Я ничего на свете не боюсь». Он в самом деле бесстрашен. Кидается в неравный бой не только с карапузами своего возраста, но и постарше. Орудует в бою, главным образом, ногами. И такой отвагой, удалью, лукавством и добродушием блещут его глаза, что противники начинают хохотать и сдаются. Если же, иногда, борьба принимает опасный характер, то он использует оружие, припасенное напоследок.

«Не бей меня, я маленький», заявляет он, забыв, или сделав вид, что забыл, что он сам первый спровоцировал драку. И шестилетний Никита, рыцарь до мозга костей, уж тут как тут, готовый отстоять его грудью — «не смейте его обижать, он маленький».

Бывает, впрочем, что ему все-таки приходится удирать. Например, вчера он уж слишком раздразнил черного щенка. Тот, наконец, вышел из обычного полусонного своего состояния и бросился на обидчика. Андрюша, издавая неистовые вопли, пустился удирать от него, вжав плечи и выпятив пузович. Остановился

только, убедившись, что собаченка отстала. Отдышался, приосанился и сказал басом подъехавшему с работы папе: — На меня, вдруг, собака напала, но я ее так припугнул, что в другой раз не сунется. Я ведь храбрец. — Против овец, — сказал папа, услышав взрыв смеха очевидцев происшествия. — Да, как соленый огурец, — присовокупил сын, в свою очередь залившись добродушным хохотом.

Но сегодня он задумчив, даже лоб нахмурен. Прохаживается взад-вперед. В одной руке лист бумаги не первой, да и не второй свежести, в другой — огрызок карандаша. Подходит ко мне, покашливает. Наконец: — Тетя Лена, я что-то полезное придумал. — А что именно? — Я твой дом зарисую, а ты мне за картину заплатишь. — Сколько возьмешь? — Матушка никель дала. Вот, смотри. — Показывает монетку, внимательно изучает выражение моего лица, прибавляет поспешно — но ты дай, сколько хочешь. Все равно.

— Ну, хорошо. Рисуй. Садись сюда. — Нет, я люблю на крылечке.

Присаживается, проводит молниеносно несколько кривых линий, протягивает лист — вот твой дом. Смотри, похож?

Правду сказать, рисунок не похож ни на наш дом и ни на что вообще, но уговор дороже денег. Я плачу гонорар. «Спасибо». Задумчиво водит ногой по траве, мнется — а чей мне дом еще нарисовать? Мне нужно много денег. Вчера Сергейка больше заработал.

А! Вот в чем дело! Конкуренция. Да, Сережа недавно продал взрощенную им самим редиску. Коммерческая операция удалась блестяще, выручил капитал в 30 центов. Делился впечатлениями: — Мамы не очень-то покупали, зато дети расхватали живо.

И теперь Андрюша, придумав новый способ разбогатеть, хочет его догнать и перегнать. И на вырученную сумму купить мешок жареной соленой картошки, к которой чувствует «влечение — род недуга».

Я советую ему нарисовать все дома всех русских теток в окрестностях. Авось соблазнятся если не ка-

чеством, то хоть дешевизной. Он исчезает. Я принимаюсь за прерванную работу, пользуясь наступившей тишиной.

Школьный «бас» возвращается ровно в 11 часов. Из него с шумом, смехом выпрыгивают члены стайки и сразу начинают играть в войну. Даже девочки, не выдержав, присоединяются к воюющим. Сейчас затеяли играть в корейскую войну. Все большие, сильные оказываются американцами. «А вы, маленькие, будете северными корейцами, потому что корейцы тоже маленькие». Малыши пискливо протестуют против такого неравного разделения, но затем подчиняются, т. к. знают, что «на войне — дисциплина первое дело».

Побеждают, конечно, американцы. Обе стороны единодушно празднуют победу и рассаживаются на траве отдохнуть.

— Мы вчера на бич ездили купаться, — докладывает Андрюша. — По-русски нельзя говорить на бич, надо говорить на пляж, — поправляет его закадычный приятель Алик. — А я в Америке и могу, значит, по-американски — не задумываясь парирует Андрюша, поблескивая озорными глазами.

Уж не знаю как — но беседа принимает серьезный характер. Обсуждается вопрос — что выше всего и сильнее всего на свете.

— Золото, — убежденно доказывает старший Андрюша, встряхивая белыми, как лен, волосами — если оно есть — на него все можно купить.

— Нет, люди, потому что они то золото имеют. — Нет, выше всего и сильнее всего — Бог, — заключает религиозный Никита, — Он все может.

«Оля-а», «Мариша-а», «Андрюша-а» — «обедать», тщетно взывают мамы. «Сейчас», отвечают дети, как отвечали и будут отвечать все дети во всем мире, и так же остаются сидеть на местах. Есть хочется, спору нет, но еще больше хочется оставаться вместе.

Даже степенный трехлетний Миша присоединяется к ним. Он не многоречив. Из своей автобиографии сообщил только, что он сам солдат, его папа — помощ-

ник солдата, а дедушка был генерал. — У нас были три собаки. Хорошие собаки, русские. — Он редко присоединяется к стайке. Времени нет. Жизнь солдата трудная — надо учиться маршировать, отдавать честь, принимать парады. — Какая машина сейчас проехала, Шевроле? — вопрошает Андрюша.

— Форд, — отвечает солдат. — Нет, по-моему Кадиляк. — Нет, Форд. — Научный спор готов перейти в потасовку, но дело кончается парой легких подзатыльников.

Сергейка обращается за советом — как ему назвать нового Мишку. «Теди бером», советует кто-то. — Нет, это английское имя, а Мишка — русский. — Михаил Таптыгин. — Тоже не годится. Тогда и мне надо стать Таптыгиным, и маме и бабушке. А мы не хотим фамилию менять, — протестует шестилетний Сережа. Вопрос остается открытым, потому что вся стайка вскакивает и мчится к одному из редких чахлых деревьев: «кто влезет выше всех» — Я, — кричит Андрюша. Но, увы, к нему приблизилась мама, опять вооруженная ремешком, и, крепко схватив сына за руку, тащит к дому. До меня доносится только отрывок диалога. — Наказание Божье, а не ребенок, опять штаны порвал и вымазал руки. Где вымазал? — Это не я. Это — оно меня. — Кто — оно? — Дерево, вот кто. Я только немного облокотился.

После обеда, дети снова соединяются. Самый старший из них, Митя — ему целых 8 лет — показывает новый перочинный ножик. Все рассматривают, слегка завидуя. — Я тоже хочу такой, — заявляет Андрюша, — я им Сталина убью. — А ты знаешь, кто такой Сталин? — спрашивает кто-то из окна. — Конечно, знаю. Это — разбойник. — Нет — это главный большевик, — поправляет Алик «опытным» голосом. — Нет — это главный разбойник. — Несогласия готовы принять форму кулачного боя, но кончаются соглашением, что Сталин и разбойник и большевик.

Один из сорванцов останавливается как раз по середине улицы. — Уйди, задавят, — предупреждают его. — Вот тайная полиция едет, она его заберет, —

говорит Андрюша, — за то, что не слушается. — Это никакая не тайная, а обыкновенная, — снова поправляет Алик, — если бы тайная была, то ты бы не знал, что полиция. — А я все равно знаю. Я догадливый. Но вот старшую часть стайки опять утащил желтый «бас» в школу. Младшие, кто грызя яблоки, а кто поливая соком апельсина свою богатырскую грудь, занимаются гимнастикой. Андрюша прекрасный акробат — кувыркается через голову несколько раз подряд. — Я хочу быть сильным, чтобы всех победить. Смотри, какие у меня мускулы. — А вчера даже девченку победить не мог. — Нет, мог. Только не хотел, — отвечает Андрюша и разводит теорию, что мускулы надо беречь, а не тратить их зря, да еще на девченок.

— Андрюша, скажи наизусть стихотворение, — просит одна из его взрослых поклонниц. Не соглашается. — Потом, завтра, сегодня времени нет. — Жаль. Он первоклассный актер. Помню, как на Рождество изображал мужичка с ноготок. Мама, как и все остальные мамы, волновалась, что сын опозорит ее, забудет или переврет, или вообще струсит и убежит. Ничего подобного.

Вышел на сцену, «шествуя важно, в спокойствии чинном», потирал руки, как будто от настоящего холода, и весело, бесстрашно поглядывая на публику, даже чуть-чуть раза два подмигнул, «дескать — вы думаете, я боюсь, но я спокоен, и мне просто очень весело и интересно. И я вообще молодец».

Взрослые потом долго удивлялись, что на репетициях дети бормотали себе под нос так тихо, что сами себя не слышали, а на спектакле «отличились на славу».

А дети знали — репетиция пустяки, не стоит даром силы тратить, вот спектакль дело уже серьезное, дурака валять не приходится, и все оказались на высоте. Особенно Андрюша.

Но в данную минуту его волокут, вымазанного с ног до головы, оторвав от очередного важного дела рытья окопов.

Быстро пролетает остаток дня. Много еще дел осталось недоделанных. Ничего, придется наверстать завтра.

В 8 часов вечера нашего героя наконец, не без труда, укладывают в постель. Весь лоснится от чистоты после купания. Лежит, внимательно слушает сказку, самую любимую, давно знакомую. Все реже и реже подсказывает продолжение сонный голос.

Мама поспешно прибирает вещи сына, качая головой при виде все новых дыр и пятен. За окном сохнут на веревке многочисленные штаны и свитеры, которые наш удалец успел выпачкать за один единственный день.

Умолк. Заснул, наконец, слава Богу. Теперь его никаким шумом не разбудишь...

День благополучно закончен. Спокойной ночи, Андрюша.

ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

В Европе — в первые годы после второй мировой войны, первой необходимостью были — суп из общего котла, общая, часто протекающая, крыша над головой и ировское одеяло под головой, на голове и вообще на всем теле в виде одеяний.

Но вот приехали в Америку и сразу узнали, что здесь предметов первой необходимости гораздо больше, и выглядят они совсем иначе.

— Всем остальным, тоже совершенно необходимым, вы обзаведетесь немного позже, но пылесос, радио, электрический утюг, такую же швейную и стиральную машину и, само собой разумеется, — автомобиль вы обязаны приобрести немедленно,— сказали хором не только давно, но и не так уж давно, а то и совсем недавно приехавшие сюда знакомые.

Стараясь не показать растерянности и «сохранить лицо», что для приезжих считается тоже необходимым, Ирина и Андрей кивали головами — Ну да, конечно, само собой разумеется...

Но, оставшись с женой наедине, то есть среди жующей толпы не то в аптеке, не то в кафе, Андрей твердо заявил, жуя популярный «хамбургер»:

— Вздор. Чепуха. Обходились до сих пор, обойдемся и теперь.

— Конечно, — подхватила Ирина, — хотя, правду сказать ...

— Впрочем, свой автомобиль было бы хорошо... Я умею управлять и люблю. В моторах понимаю...

— Ты умеешь, а я сразу выучусь, — быстро вставила Ирина, не замечая или делая вид, что не замечает, как лицо мужа вытянулось в два раза длинней его натуральной величины.

Так или иначе, в кратчайший срок они пересмотрели десятки и новых и подержанных «каров». Выяснили, что они не теряли права называться предметом первой необходимости, если даже переходили в ваши руки из вторых — по уверениям юрких продавцов — а то и из десятых рук по виду.

Некоторые из них были откровенно довоенного производства, но зато их уступали по цене, доступной даже новым, а то и совсем новешеньким американцам.

Подход к выбору машины был у наших супругов диаметрально противоположным. В то время, как Андрей нырял внутрь, пытаясь выяснить состояние мотора и всяких других таинственных штук, Ирина обращала внимание только на цвет и форму машины.

Ясно, что при таком различном подходе — дело не обходилось без горячих споров и без холодных, но язвительных упреков.

И все-таки, в конце концов, «первая необходимость» в виде автомобиля василькового цвета — под цвет Ирининых глаз и костюма — перешла в их трясущиеся от волнения руки.

Она (машина) заикалась, потрескивала, лязгала, задыхалась, кряхтела и хрипела, но была теперь своя, следовательно — чудная.

Правда — было в ней жуткое свойство — долго упрямиться, пускаться в путь вяло, неохотно, но зато, как бы войдя во вкус, мчаться быстрее дозволенного, не обращая внимания ни на перекрестки, ни на повелительные жесты полицейских.

«Удивительно», — говорила Ирина, — «когда нужно — этих блюстителей закона с огнем не сыщешь, а когда совсем не нужно — они тут как тут. Прямо, как из под земли»...

Некоторое (короткое) время она довольствовалась ролью владелицы — пассажирки. Тем более, что можно было, сидя развалившись, делать замечания шоферу-мужу, вроде: «Что ты ползешь, как на похоронах. Все нас перегоняют.» Или: «Не несись, как угорелый. А то завтра проснемся мертвыми».

Одним словом — сплошное наслаждение, казалось бы. Но, на самом деле, ей все больше и больше хотелось самой сесть за руль.

— И не мечтай, — сказал Андрей. Это его замечание заставило ее, конечно, возмечтать вдвойне.

— Все дамы научились же уже.

Она не замедлила устроить «парти», пригласив всех своих приятельниц. Те не только пришли, но и надавали ей массу дельных советов.

— Конечно, надо учиться, — сказала одна, — смотрите, как американки небрежно-уверенно правят машинами. Прямо двумя пальцами.

— А раз они могут, то мы сможем еще лучше, — вставила вторая.

— О да, все это так просто, — подхватила следующая, — просто до смешного просто. И легко. Я уверена — даже вы научитесь.

Ирина хотела было обидеться на это «даже», но ей было не до обид.

— Кто-же будет меня учить? спросила она. И тут мнения разделились.

— Конечно — ваш муж. Это удобно и дешево.

— Ха, само собой разумеется — муж, но не ваш.

— Но почему же?

— А потому, что, когда они учат чужих жен, то они кротки, вежливы, ну, сплошные рыцари и даже ангелы.

— Да да. Шур, шур. А как начнут учить своих жен — превращаются в дьяволов, да еще сущих.

— Да, странно, но факт. Нет, берите профессионального учителя.

— Это дорого. Уговорите какого-нибудь чужого мужа, повторяю. Знаю по опыту.

— Ну какая им охота рисковать жизнью? И тратить драгоценное время?

— С интересной женщиной, может быть, кто-нибудь и согласится. Но его жена — на дыбы. Если наоборот — сам сбежит...

— Знаете что — идите в школу.

— Ну и совет. Нет, ах — нет. Там вас теорией замучают, а практиковаться не дадут. Или какие-нибудь жалкие минуты, когда вам нужны будут дни, недели, месяцы ...

— Но почему же? Я способная, — слегка дрожащим голосом запротестовала хозяйка, — в детстве, помню, научилась ездить на велосипеде сразу.

Тут ее гостьи объединились в дружном взрыве смеха и тоже дружным хором стали уверять ее — Благодарите Бога, если научитесь через сто часов практики и минимум трех покалеченных своих автомобилей плюс неизвестное количество чужих.

— Так как же быть? — еще растеряннее осведомилась Ирина.

— Голубчик, умоляю вас, только не просите мужа, — тихо сказала дама, молчавшая до сих пор, — по опыту говорю. По горькому опыту. А то — будете отъезжать от дома, нежничая, воркуя, а возвращаться, ненавидя друг друга.

— Значит — вы считаете — сидеть рядом, наслаждаться природой, покрикивать на мужа лучше, чем самой управлять?...

— Ну, еще бы. Всякий дурак понимает.

— Как вы можете так говорить? А чувство господства над миром... Чувство, как будто вы стали крылатой, могущественной...

— И не так уж все это трудно. Миллионы умеют. Как же вам отказываться, даже не попробовав. Нет, невозможно. Надо... необходимо... Шур. Шур.

— Надо, — решила Ирина, — потому что хочется. И потому, что я не хуже других. И я докажу.

Но прежде надо было умолить Андрея. Заставить его согласиться принципиально и начать ее учить — практически.

На эту процедуру ушло много времени, просьб и даже слез. Наконец, он сдался. Воскликнул, по ее мнению трагически-театрально: — «Прощай уютная жизнь. Здравствуйте, пытки смертника».

Наконец то... Ирина уселась за руль, посмотрела с сияющей, гордой улыбкой на корчившегося рядом мужа: — Сразу научусь. Вот увидишь.

— Боюсь, что долго смотреть на придется. Смотри вперед и по сторонам. О-о!

Отъехали. Поехали. И пошло...

— Отъехала рывками, как бенгальский тигр... Торрмаз!... Я тебе говорю — торррмаз, а не газ... — шипел он в бессильном бешенстве. — И почему ты сразу на третью скорость?... И... так и знал — наехала на забор.

— Я не виновата, что улица узкая, а дома широкие, — шептала Ирина пересохшими губами, вцепившись всеми десятью дрожащими влажными пальцами в руль...

— И помолчи. Я могу окончательно обалдеть от твоих окриков.

— Это уже случилось. Едет по прямой, как стрела, улице какими-то пьяными зигзагами.

— Чего ты опять виляешь?! Езжай прррямо! — орал он, грызя не только жену, но и свои ногти. — Подумают, что ты пьяна, и оштрафуют на 200 долларов минимум. А максимум — тюрьма. Господа! Она опять с третьей скорости на первую! Бедная коробка скоростей!

— Если бы ты меня не грыз — я бы ехала лучше. А теперь... Боже мой! Что он хочет?! — в ужасе показала она на выскочивший из за угла автомобиль.

— Тормози! Ты с ним столкнешься!

Ирина затормозила слишком поздно. «Первая необходимость» врезалась в бок автомобиля.

Кругом сразу образовалась толпа. И, конечно, тут как тут полицейский.

— Объясни мне — почему ты не остановилась перед перекрестком, когда он уже пересекал улицу? —

спрашивал муж, очевидно считая эту минуту самой подходящей для спокойных объяснений.

Ирина не только не могла ничего объяснить, но была близка к обмороку. И это на глазах добродушно издевающейся толпы. И полицейского.

— Потом... На нас смотрят — еле выговорила она.

— Ну и хорошо, что смотрят и издеваются. Так тебе и надо. Пусть видят все, пусть видят, какой женой Бог меня наградил, шипит Андрей, вылезает из автовобиля и вступает в переговоры с полицейским.

— Штраф. Позор. Починка на наш счет, — резюмирует он, садясь за руль.

— Если бы я знала, что у тебя такой характер, я бы никогда не вышла за тебя замуж. Никогда.

— Ну, это легко поправить, — отвечает он сурово и беспощадно...



Сколько раз после таких поездок Ирина твердо решала отказаться от мечты. Бросить. Объявляла даже о решении мужу. Тот неизменно бросался ее целовать и даже мыть посуду, но... вскоре опять ее неудержимо тянуло сесть за руль и мчаться все скорее, скорее, чувствовать, как за спиной растут крылья, как захватывает дух...

И снова начинались просьбы — «давай, я попробую еще раз, самый последний разик».

И опять и снова яростная перебранка, упреки, угрозы со стороны заметно похудевшего мужа.

Так или иначе (чаще иначе) она научилась, сдала экзамен и получила право на езду без сопровождающего. Это был поистине прекрасный для нее день.

Более философски настроенный теперь Андрей изрек: — Ну и хорошо. По крайней мере я перестану мучиться. Но если бы знал — никогда не купил бы машины...

— Ну что ты! Это же самая первая необходимость, — воскликнула ликующая жена, подбегая к автомобилю, окончательно облупившемуся и продавленному

от частых соприкосновений с предметами движимыми и недвижимыми.

— Спасибо тебе, дорогой старичек, за верную службу.

Автомобиль ничего не ответил, но зато заблестел всеми немногими местами, на которых чудом сохранился его довоенный лак.

«САКРИФАЙС»

Гости, как полагается, хвалили все: и недодержанный пирог, и подержанный холодильник и передержанный автомобиль.

Хозяева — Нина и Андрей — сдержанно сияли и скромно приговаривали:

— Ах, что вы, ничего особенного, но, конечно, приятно, что все приобретено своим трудом.

— И на этом вакханалия приобретений кончается, — твердо заявил Андрей.

— Как так кончается? Напротив, только начинается, — хором возразили гости; — теперь вам необходимо купить дом. Это здесь тоже предмет первейшей необходимости.

Глаза Андрей проделали махинации, перед которы ми бледнеют все штампованные выражения, вроде — «вылезти из орбит» или «быть вытаращенными».

— До-ом? — хрипло переспросил он и даже покачнулся.

— Ну, да. Само собой разумеется. Мы все купили, теперь вам пора. И не откладывая ни минуты. Только не покупайте старое барахло, а новый или почти новый.

— Что вы, напротив, только, старый. Если простоял много лет, значит, простоит и еще. А новые теперь строят иногда так, что дунешь — улетит.

— Ах, вы просто потому, что сами старый купили и

теперь возитесь без конца с починками, покрасками, перекрасками...

— Так что же из этого? Вожусь и горжусь. Это-то и интересно — самому создавать.

— Ну, уж, интересно. Нет, новый, новый...

— Старые дешевле и уютнее.

— Зато новые выглядят красиво.

— Это вопрос вкуса. Я, например...

Пока гости спорили, расхваливая свои дома и критикуя все остальные, Андрей слегка пришел в себя и посмотрел на Нину.

Она сидела, прижав худенькие руки к сердцу и шепча дрожащими губами:

— Боже мой... свой, свой, свой дом. Неужели возможно?

— Значит, решено, — зычно провозгласила решительная Марья Петровна, — с Богом, покупайте. Только, конечно, ищите выгодного случая. Бросайтесь смотреть, если объявляют «сакрифайс».

— А это что за штука?

— Это — непереводимое буквально, но обозначает —жертва, случай, готовы отдать за бесценок, чуть ли ни даром.

— С какой такой стати? — недоверчиво прохрипел Андрей.

— Ну, срочно уехать нужно, или деньги до зарезу понадобились. Я вот такой купила и не нарадуюсь. Дешево и мило.

— И не дешево и не мило, — довольно-таки неучтиво перебил ее друг Андрея Николай, — сами сознались, что вода втекает там, где не нужно, и вытекает не там, где ей полагается.

— Это вы просто от зависти, потому что у самого «ни кола, ни двора»,

— И горжусь этим.

— Нашли, чем гордиться!

— Да, да, все брюзжит. Конечно, милочка, ваш дом прекрасный. Почти такой же чудненький, как наш.

— А, по-моему, мой лучше вашего.

— Ну, это вы уж слишком, милочка. Один наш сад

чего стоит. И вид, вид — умопомрачительный. А у вас никакого.

— Мы видим, однако, все, что нам нужно.

— Нет, нет, нет, — сказал Андрей, тряся головой, — еще раз нет.

— Ха-ха-ха... Итак, скоро будете новоселье справлять...

— Голубчик, — шептала Марья Петровна на ухо взволнованной Нине, — не слушайте его. Подыскивайте сакрифайс. Они, мужчины, ведь ничего не понимают. Им надо подносить в готовом виде, а до тех пор пилить, пилить и изредка слезу пускать — дескать, «все имеют, только я одна, несчастная». Ведь вам хочется иметь свой дом?

— О-о, еще бы, и с садом, с розами...

На другое утро, когда Андрея не было, появился, как из под земли, продавец.

— Мы не собираемся, — слабо запротестовала Нина.

— Да я не уговариваю. Я просто хочу показать вам несколько домов. Это ведь ничего не стоит и ни к чему не обязывает.

После одной из таких поездок, Нина вернулась в особенно приподнятом настроении. Приготовив на ужин самое любимое блюдо мужа, даже дав ему время потом почитать газету, она приступила к операции.

— Я не собираюсь тебя уговаривать, Андрюшенька, но я должна рассказать. Не могу молчать. Я видела сегодня домик, маленький, уютный, дешевый, и в саду розы, васильки и дуб. Такой живописный. И на нем скворечник такой забавный...

— Не подлизывайся. Ннне куплю.

— Хорошо. Прекрасно. Но ты не смеешь меня заставлять молчать, когда я хочу говорить.

Андрей должен был выслушать все про дом, который является чистейшим «сакрифайс», потому что владелица должна уехать немедленно, и который, несмотря на дешевизну, лучше, по мнению Нины, многих других.

В самый разгар ее восклицаний, появился Николай. Он, конечно, начал отговаривать.

— Достаточно обросли холодильничками. Андрей прав. Нет, чтобы для общего дела работать.

— Постойте, вы ведь считаете, что мы все обязаны внушать иностранцам на всех перекрестках правду о России?

— Да, уж это самый минимум. Программа для детей младшего возраста.

— Но для того, чтобы доказывать, что Россия до революции была одной из самых культурных стран — мы сами должны жить культурно. Иначе нас и слушать не станут, особенно практичные американцы. Вот в нашем будущем доме...

— Нина! — заревел Андрей.

— То есть, я хотела сказать, в доме, который мне так понравился, нам бы это удалось. Кругом интеллигентные соседи, мы уже познакомились. Они расспрашивали меня, интересовались.

— А сколько лет этой твоей находке? — как бы невзначай спросил Андрей.

— Всего навсего 20 или 30.

— Для деревянного дома это весьма почтенный возраст.

— Он не деревянный, а вроде каменного, — торжествующе прервала Нина, — и в саду розы и...

— Дело не в розах, а чтобы в доме не было сырости, чтобы канализация была в порядке и чтобы его термиты не пожирали. Говорят, этих бестий в Америке масса.

— Почему же им именно в наш дом вгрызаться? И, потом, «Рилэстетчик» прав, говорит: «Слишком много талдычат о термитах, однако все дома стоят себе»... Вот чудная страна Америка; за три года, что мы здесь — мы уже дом покупаем, или можем купить если захотим. И поговорка — «от трудов праведных не наживешь палат каменных» — здесь не подходит. Оказывается — наживешь, именно трудом праведным.

— Хороши палаты, просто, по нашему понятию, дачи.

— Ну, и пусть. Зато своя. И камин. Я о камине всю жизнь мечтала. Вечером смотреть в огонь и мечтать. И все это в своем доме.

— Все женщины презренные собственницы, — буркнул Николай, видя, что его друг уже сошел со своих позиций и готов «продолжать обрастать и дальше».

— И своим-то дом будет через много лет, когда выплатим долг банку.

— Каких нибудь жалких десяток лет, — сказала Нина, — а помесячно нам надо платить столько же, сколько мы теперь платим за чужую квартиру. Андрюшенька, — умоляюще прибавила она, — если бы ты только посмотрел его.

— Страшно — слабо возразил он, — это такая большая покупка. Придется думать, думать.

— Только не слишком долго, а то его другие купят. Это такая прелесть. И такой «сакрифайс»...

— Я вижу, ты тоже поддался эпидемии, — констатировал Николай, махнув рукой, — все, как нанятые, покупать бросились. Посмотрим, так ли легко будет продать, как купить.

— Я не собираюсь покупать. Я только посмотрю, раз ей так хочется.

— Конечно! — вскричала Нина, обнимая его, — только, только посмотреть.

Ровно через неделю они переехали в свой дом. Как это случилось, Андрей до сих пор не понимает. Но, кажется, доволен не меньше гордой домовладелицы Нины, которая способна разговаривать только восклицаниями, выражающими высшую степень восторга.

КОТ В МЕШКЕ

По середине гостиной стоит столовый стол. На нем беззаботно покачивается кухонная табуретка.

На ней, озабоченно стараясь сохранить равновесие, стоит хозяйка этих вещей и вообще всего дома, Нина, и красит потолок. Это очень трудно, но надо, потому что на нем — на потолке — оказались вдруг трещины. Как она — Нина — не заметила их, когда ей показывали дом, она не понимает. Зато она прекрасно понимает, что надо закрасить их, пока не вернется с работы Андрей. Он все еще не может примириться с мыслью, что согласился на покупку. Все ворчит: «с кондачка купили дом, будто это фунт масла или новая шляпа»...

Он не без удовольствия отмечает недостатки, а Нина не соглашается с ним из принципа. Раз уж сделано, надо находить достоинства. И их масса. Да, масса. Уже одно чувство, что это их дом, — чего стоит... Затем — недвижимость растет в цене и, значит, и дом тоже. И скоро они окончательно станут на ноги.

А пока что эти ноги подгибаются от усталости, болит спина, и вообще вся Нина похожа сейчас на зебру, да еще страдающую морской болезнью. Еще бы: она вся вымазана краской, внизу на полу целое море этой краски, а наверху на потолке сплошная морская зыбь от неумелых волнистых мазков.

Правду сказать, Нина готова расплакаться, но удер-

живается от облегчающих слез, зная, что они смешаются с краской на лице и окончательно залепят глаза.

Где-то внизу заливается телефон. — Не подойду, — думает Нина, — не могу. Слезть трудно, влезть обратно еще трудней. Ну, а если это рабочий, который уже третий день обещает прийти и починить плиту? Или еще что-нибудь важное...

Пыхтя, кряхтя и хватаясь за что попало, она сползает со своего эшафота. Берет трубку. — Халло!

— О, халло, хай! — слышится голос Веры Петровны, — ну, как поживаете? Верно, как и я, наслаждаетесь своим новым, то есть старым, то есть новым старым домом...

— Да, хрипловато отвечает Нина, — да, о да, наслаждаюсь...

— Не права ли это такое блаженство — покой, уют в собственном уголке.

— Да, неописуемое, прямо непередаваемое, — вторит Нина, отдирая левой свободной рукой комок краски с черепа, вместе о прядью волос.

— Значит, все в порядке. Но, голубчик, почему у вас такой странный голос? Неужели, что-нибудь не в порядке?

— Ну, что вы! Все хорошо, прекрасно.

— Но Варвара Николаевна видела, как вы вчера краски покупали. И даже ей сказали — потолок красить нужно. Неужели протекает?

— Боже упаси! Потолки у нас такие прочные, что всемирный потоп выдержат, не то что обыкновенный дождь.

— Ах, как хорошо. Значит, не такие, как у Прутиковых. Подумайте, вчера дождь только начал накрапывать, а уже у них на потолках огромные пятна. Это от малюсеньких капель. Вот что значит — покупать так, сразу, с налета. Не то, что мы с вами, дорогуша. Мы сначала десятки домов осмотрели, все проверили, все взвесили, а уж потом...

— Да, да. Наш «рилэстетчик» мне даже говорил, конечно, шутя, что он весь поседел, пока вас уговорил.

— Вот смешняк, ха-ха! Как же он мог поседеть, когда он уже окончательно облысел, пока вы, наконец, решились. Кстати, не знаете ли вы пломбера, ну — водопроводчика, но нашему, — дешевого, знающего и добросовестного?

— Я как раз то же самое хотела у вас спросить, на всякий случай. Но нам он не нужен. У нас в этом смысле все в порядке.

— У нас тоже, тоже. Это я... для соседки стараюсь. Надо ладить с ними непременно, во что бы то ни стало. Так вот у нее умывальник засорился. Я уж пробовала сама и спицами и ножницами и проволокой. И эту проволоку теперь обратно вытащить не могу.

— Почему же вы, раз это у соседки?

— Ах, это я от первого лица рассказываю, потому что так образнее получается, выразительнее... Значит, у вас все благополучно? Никаких неожиданных, неприятных сюрпризов? Как и у нас. Не то, что у других. Вчера, например, Хвостиковы на огонек заглянули. Забавно, они так и сказали — «на огонек».

Вышло смешно, потому что что-то случилось с электричеством. Только на минуту, конечно. И мы с огоньком свечки сидели. Правда, забавно?

— Ну так вот, сам Хвостиков, ворчун мрачный, как пошел и свой новый дом ругать и сад и все. «Поддался общему психозу местному», говорит, «и теперь радость какая — в доме муравьи да уховертки так и шмыгают, а проклятые термиты снизу полы подтачивают».

— Я уж старалась его развеселить — зато сад, цветы, зелень вас радуют.

А он в ответ: «цветы сверху улитки обожрали, а их корни гоферы слопали, а листья на деревьях — гусеницы... А в доме то то, то другое чинить надо, а рабочие-то дороги, да и тех не дозовешься».

— Ну, мы с его женой протестуем, конечно, а мой муж, представьте себе, — никто, как свой — на его сторону вдруг стал. «Ясно», говорит, «котов в мешке понакупали. Теперь-то поняли, да уже поздно».

— Поздно, — эхом отозвалась Нина.

— Ах, дорогуша, так приятно мне было с вами душу отвести, то есть, я хотела сказать, радостью поделиться. Стойте, кто-то стучит. Верно почтальон опять целую кучу счетов принес. Минутку... Да, почтальон.

— Вера Петровна, а почему к вам стучат? Звонки не действуют?

— Что вы, милочка. Говорю же я вам — все в порядке. Полном. Но... но я считаю, что звонки вульгарны и дребезжат. А стук уютнее. Нинуша-дорогуша, а что это за вопли и визг? Неужели соседские дети опять расхулиганились?

— О, нет. Просто эти милые деточки резвятся. У них гости сегодня. И я так люблю слушать их голосочки.

— Де-этки... Голосоч-ки... Как бы не так. Я же знаю, что эти ангелочки уже два раза камнями ваши окна поразбивали и вашу ванную грязью забросали.

— Все это так преувеличено. Мальчик, верно, шалун отчаянный, а девочка все конфеты — «кенди» — требует. Но все это пройдет. Переменятся они, это как-то здесь вдруг случается. И глядишь — благовоспитанными джентельменами и леди стали. И все это пустяки. Я привыкну... Кстати — вы в свой погреб лазили?

— Почему в погреб? Зачем? Да в него можно только на четвереньках.

— А чтобы проверить — нет ли там термитов.

— Каких таких? Их в наших местах, говорят, нет. Не пугайте.

— А я слышала — есть. Масса. Одни ползучие, другие летучие. Но все прожорливые. Это я в одной страшно научной книге вычитала. И теперь боюсь.

— А вы не бойтесь. Мне, то есть, моей соседке, специалист, которого мы, то есть они, позвали для инспекции, сказал: «Не беспокойтесь. Они медленно жрут. Вы, я думаю, гораздо раньше кончитесь, чем ваш дом». И так нахально смотрит и даже улыбается. Однако, милочка-душечка, мне надо в город бежать. Так приятно было с вами поболтать.

— Очень было радостно. Приходите поскорей к нам. Вместе порадуемся.

— Да, непременно. А вы к нам. У нас уютнее.

— Кому как. Ну, всего хорошего. Звоните скорей, сговоримся. Повидаемся и поговорим — до чего приятно свой дом иметь.

— Да, да, да. Прямо восхитительно. До скорого.

НУ И РЕЛЯКС

Понедельник. Обеденный перерыв...

Взгромоздившись на высокие, неудобные стульчики, приятели лениво попивают кофе. В баре шумно, душно, пахнет жареным мясом и вареными овощами.

— Ну, вот, — вздыхая, говорит Семен, — кончился уикенд, опять целых пять дней ждать, пока можно будет это самое... релякс...

— Послушай, — раздраженно перебивает его Иван, — ты бы поменьше иностранных слов в русскую речь вставлял. Ведь это отвратительно.

— Да, согласен, но иногда трудно перевести. Например — ну, как ты переведешь на русский язык — релякс?

— Отдыхать. Нет, больше. Ну — полнейшее отдохновение, что ли.

— А у тебя оно бывает часто?

Иван сделал резкое движение и чуть не свалился со стула.

— Нет, — пробурчал он после паузы, — правду сказать — как то не получается. Мчишься домой, как угорелый, строишь планы один другого радужней. Выспаться, полежать на солнышке, почитать газету, вкусно пообедать, пить чай с вареньем, не обжигаясь и не торопясь, на лоно природы выехать... Ну одним словом, отдохнуть. Но дома жена встречает — озабоченная, усталая. — Помоги, — говорит, — с уборкой ге

неральной. Не могу же я, несчастная, все одна... Тут ей плиту почисти, окна помой (потому что здесь почему-то мужчинам полагается этим заниматься), стиральную машину почини...

Он вздохнул, покосился на приятеля. — Вот ты говоришь, что у вас все как-то иначе, что ты успеваешь за эти два свободных дня отдохнуть.

— О, да, — подтвердил Семен.

— Значит, в субботу, с утра, жена не тащит за покупками?

— Нет. Впрочем — иногда.

— Ненавижу, — снова прервал его Иван, — как она щупает, нюхает каждую вещь, хотя знает, что продавцы этого не любят. А я, как болван, за ней с тележкой тащусь. Жду. Иногда спрашивает озабоченно — напомни, что еще купить надо. Я ей кротко — ты же записала все на бумажку. Посмотри. А она вразумительно, ясно — «конечно записала, я люблю все обстоятельно, толково. Но записку дома забыла». — Так часика четыре из магазина в магазин бегаем. В одном, по ее мнению, мясо дешевле, в другом — фрукты. Я ей говорю — стоит ли время так терять. Из-за нескольких сбереженных центов мы не разбогатеем. А она высокомерно, через плечо — «лучше умру, чем за салат целых два цента переплачу; впрочем, тебе, непрактичному, легкомысленному, этого не понять».

— Знаю. Дальше, — коротко вставил Семен.

— Пока дома пакеты разбираем, она пристает — «расскажи, что у вас на работе нового. Вот другие мужья столько интересных новостей домой приносят, я одна, несчастная, никогда, ничего не слышу»... Почему-то жены уверены, что у нас не утомительная, трудная работа, а нечто вроде клуба, где мы развлекаемся и отдыхаем.

— Да, понимаю. Дальше, — скомандовал Семен.

— В субботу, после обеда, починив забор, подрезав в саду траву, берусь, наконец, за газету. Она вокруг меня так и вьется с видом непонятой жертвы: — «читай, читай, отдыхай, я сама все сделаю». — Я скрежещу зубами, закуриваю. — «Не сори на пол» — шепчет

— «и прочти статью о вреде куренья. Рак — обеспечен». — Я со стоном тушу папиросу. — «И еще один фельетон прочти. Там пишут, что мужья должны хоть иногда женам подарки приносить, чтобы скрасить их жизнь, и что женская душа, как цветочек без воды, без внимания сохнет. И надо быть бесчувственным чурбаном, чтобы этого не понимать».—Я все сдерживаюсь. Напоминаю ей, что она сама меня отучила. Каждый раз, когда я ей сюрприз приносил, — допытывалась, сколько он стоил, и немедленно начинала меня пилить за то, что переплатил и купил вещь совсем не в ее вкусе. — «Ах», — говорит она ангельским голоском — «я же не виновата, что ты так непрактичен».

— Тоже знаю. Прямо наизусть! — вскричал Семен. — Обеденный перерыв сейчас кончится, смотри — расходятся уже. Говори скорей. Мне тоже надо коечто рассказать.

— Ну, ты счастливец. Сам говоришь, что лучше меня умеешь свободным временем насладиться. Отдохнуть, как следует.

Но Семен, не слушая его, начинает говорить быстро, торопясь, волнуясь:

— В субботу вечером я заявляю, что завтра, после церкви, во что бы-то ни стало едем на целый день пикником. Жена соглашается и тут-же начинает скулить, что ей придется с раннего утра пирожки печь, курицу жарить. Я говорю — пообедаем в ресторане. Нет, отказывается. Дорого слишком. Я не настаиваю. По горькому опыту знаю — если уговорю заехать в ресторан, еще хуже получится. Будет смотреть только на правую сторону карточки, где цены, и все время вскрикивать, что все невыносимо дорого. Выберет дешевый хамбургер, а потом съест три четверти стека, который я заказал для себя, не обращая внимания на ее трагически расширенные глаза.



Приятели помолчали. Иван заговорил первый, вдруг улыбнувшись хитро.

— Все-таки один часок блаженного отдыха я себе выкроил. Когда возвращались домой и мне надоело слышать ее непрерывную критику — то я несусь, как оголтелый, то ползу, — я заявил, что шина лопнула. Съехал на обочину, залез под автомобиль, разлегся там и проблаженствовал, пока полицейский не подъехал. Посмотрел пронзительно на меня, валяющегося под автомобилем, на целые шины, покачал головой и предложил мне дохнуть ему в лицо, считая, очевидно, что так отдыхать можно только под парами алкоголя. А так как это пахнет штрафом, я предпочел вскочить и помчаться дальше среди других, как с цепи сорвавшихся, автомобилистов.

— М-да-ас, — сказал Семен, — а мы в лесу были. Я иду за хворостом, чтобы огонь развести, чай вскипятить, жена кричит — «не ходи — там змеи». Прилег на траву — а она предупреждает — «ты прямо в пойзонок шлепнулся, где у тебя глаза».

— Одним словом, нареляксались, — резюмировал уныло Семен. — Знаешь, а, может быть, только мы с тобой не умеем отдыхать по настоящему, а другие умеют.

Он схватил за рукав идущего к двери Джо Смиса:

— Хорошо отдохнули за уикенд? — Тот блеснул белыми зубами на добродушном загорелом лице:

— Файн, джаст файн, — ответил он, — весь дом успел выкрасить снаружи и внутри.

— А я, — вмешался Фред Стивенс, — еще лучше. Мы за два дня полторы тысячи миль отмахали.

— Значит — вы все время ехали?

— Оу, йес!

— Когда же вы отдыхали?

— Ехать — это и есть отдых, — ответил Фред, — в следующий уикенд собираемся еще больше проехать. Еще лучше отдохнем.

Приятели посмотрели на них, потом друг на друга, вздохнули и отправились на работу.

ПЕТЬКА-ДИПЛОМАТ

Папа с мамой часто спорят и к этому Петька привык. Так уж очевидно у взрослых полагается. Бог с ними! Только бы его, Петьку, в покое оставили.

Но в том-то и беда, что не оставляют. Напротив — поминутно отрывают от важных дел, и каждый хочет, чтобы он с ним согласился. Особенно мама, ей непременно подавай большинство голосов, на свой только не надеется, хотя он у нее и громкий и пронзительный.

Раньше, все-таки, лучше было. Правда, по утрам от Петьки требовали такие смехотворные штуки, как, например, мытье за ушами, где ведь все равно никто не увидит, но потом были рады, когда он скрывался с их горизонта, предоставляя сыну расширять свои горизонты, как ему вздумается, только бы «глаза не мозолил». Но, последнее время, решив, что сын вступил в сознательный возраст, они тормошат его и заставляют ломать голову над сущими пустяками. Например, еще вчера мама вернулась домой в новой шляпе и обиделась, когда папа сказал, что она (шляпа) идет ей (маме), «как корове седло». — Много ты понимаешь! Это последний крик моды и притом премиленький, — сказала мама, так быстро вертя головой перед зеркалом, что у Петьки даже в глазах зарябило. — Петя, идет мне шляпа или нет? — Иде-от, — нерешительно протянул сын, но, увидев неодобрение

на лице отца, добавил — да не совсем. Отец, засмеявшись, обозвал его дипломатом, а мама дурачком, старающимся угодить и нашим и вашим.

— Ну да, я же говорю — дипломат, — еще больше развеселился папа, даже забыв об обеде, который еще не начинали варить.

— Кроме того, безумно дешево, — не сдавалась мама, — всего на всего шесть долларов, когда на ней одних цветов на десять, не считая вуальки, овощей и фруктов.

— А как же на ярлыке написано 6.99? Это значит — все семь плюс тэкс.

— Ты безумно мелочен, — сказала мама и поскорей ушла на кухню, чтобы последнее слово осталось за ней.

Папа с Петькой переглянулись, подмигнули друг другу и снова углубились в газету — папа в первую страницу, а Петька в последнюю (комиксы).

Впрочем, Петька скоро отвлекся новой мыслью — до чего взрослые непонятный народ.

Почему, например, папа гордится, когда на бутылке вина пыль и паутина, а мама, увидя даже немного её на потолке кричит «позор»?...

Вечером мама опять отвлекла мужчин от их занятий, сообщив, что скоро ее именины, и она решила устроить настоящий заграничный «парти».

— Партию, так партию, — промычал отец из-за газеты.

— А именно, коктейл, коктейл-парти. Это будет премило. Шур. Я решила и тзетс олл, — прибавила мама, вставляющая ни к селу ни к городу, по выражению папы, два с половиной английских слова, и при этом с отвратительным произношением, в прекрасный русский язык.

— Петя, ведь тебе будет интересно увидеть настоящий коктейл-парти?

— А я не знаю...

— Зато, братец мой, я прекрасно знаю. Брррр ... — проворчал отец, — наберется уйма народу, стульев не хватит, стаканов тоже, конечно. Постоят, «халло, хал-

ло», глотнут подозрительную бурду и уедут, ругаясь за потраченное зря время. Ты, матушка, уж черезчур всеми чужеземными финтифлюшками увлекаешься.

— А ты черезчур русаком остаешься. Конечно, тебе было бы больше по душе позвать несколько собутыльников, распевать всю ночь хором, кто в лес, кто по дрова; и так шуметь, что соседи полы и потолки пробуравят щетками, требуя спокойствия. Петя, ведь ты же тоже за коктейл-парти?

— Петька, черт возьми, голосуй за русские именины!

— Ни за что, шур, коктейл-парти, Петя!

— Ну, пусть мама на свои именины — коктейл, а ты на свои — пирог и водку, — предложил сын, поковыряв в носу.

— Прекрасное предложение! Так и сделаем, — вскричал отец и обозвал сына не только хитрым дипломатом, но и мудрым Соломоном.

Накануне именин мама часами висела на телефоне, еще раз напоминая гостям о предстоящем «парти». Все остальное время переставляла в гостиной (она же Петькина спальня) мебель так, чтобы бросались в глаза кресла времен Люи каторз пятнадцатого (или что-то в этом роде) и не бросались пятна на стенах времен недавних и Петькиного производства.

В самый день торжества, мама, растопыривая цветы в вазах, чтобы их казалось больше, послала папу делать коктейли. Папа погромыхал бутылками, развел руками и сказал, что он понятия не имеет «как их варганить».

— Ах, Боже мой, это же так просто — ну, налей из тех бутылок в этот таз, поболтай ложкой, чтобы смешать, и разливай в стаканы. В одни положи оливку — это будет Мартини — в другие вишню, получится прекрасный Манхетен. Вот и все.

— Гм... гм... В лучшем случае наш Бруклин получится, а не Манхетен. Впрочем — мне все равно, не я пить буду, — решительно сказал папа, так же решительно засучил рукава и начал лить содержимое бутылок в таз. Только когда дело дошло до джина, он

приостановился — жалко портить благородный напиток, право. Хоть часть его спасти надо. Спасение он видел в том, что выпил изрядную долю сам. Глаза его стали мутными и блаженными.

— Петька, пробуй бурду. Как по-твоему?

— Сахару бы побольше.

— Нет, окончательно тошнотворно получится. Баста.

От пяти часов до восьми Петьке, выряженному в чистый костюмчик, пришлось сказать тридцать раз «хау ду ю ду», столько же раз «хау ар ю». Даже надоело.

Гости переминались с ноги на ногу, балансируя стаканом в одной руке и тарелкой в другой, периодически спрашивали друг друга «хау ар ю» и отворачивались, прежде чем спрашиваемые успевали выдавить «файн».

Папа иногда отходил от двери, куда его поставила мама, чтобы встречать гостей, толкал сына в бок, ухмылялся, выпивал из своего собственного стакана свой собственный коктейл, который, Петька знал, был чистейший джин, возвращался к двери и снова уверял входящих — выходящих, что он «глед ту си ю, вери, вери глед, ну и все такое прочее»...

— Вот видишь — все было мило и прекрасно, — бодро сказала мама, проводив последнего гостя. — Каждый мне сказал, что он в восторге.

— Это просто так, по привычке, — ответил папа, — была самая обыкновенная скучища, но раз ты довольна — то все в порядке.

— Еще бы, именно — все, как у людей, — ответила мама, вылавливая окурки и остатки сандвичей из ваз. Посмотрим — как пройдет твоя вечеринка.

— Будьте благонадежны, повеселее. И будет, что вспомнить.

В самом деле — было. Во всяком случае и мама сама вспоминала и напоминала мужу не раз и не два. Началось уютно. В комнате пахло теплыми пирогами, селедкой, луком. Каждому гостю было на чем сидеть, что поесть и что выпить, тем более, что, кроме осно-

вательных папиных запасов, гости притащили в подарок и пироги и водочку и конфеты.

— Вот это я понимаю, это уют, это душу отвести называется, — приговаривал папа, подливая гостям и не забывая себя. Под шумок приложился к рюмочке и Петька и так, вдруг, воодушевился, что стал громче всех требовать чарочку имениннику.

Стало душно, шумно и весело. Когда же появилась из передней гитара, и дядя Забулдыга — так его мама окрестила — стал запевать, а остальные подхватили, то мама встала и ушла в спальню, прижав к каждому виску по два пальца и страдальчески закатив глаза к потолку.

Но ее уход остался незамеченным. До того ли было. Все хлопали в ладоши и кричали «браво», «бис» Иван Иванычу и Анне Ивановне, пляшущим разудалого трепака под «Во Францию два гренадера», которые оглушительно пел папа, по мнению гостей «совсем, как Шаляпин, а то и почище».

Даже Петьке поднесли чарочку «как цветок душистый». Он ее лихо осушил и гикнул, но потом стал все видеть, как в тумане. Впрочем, он постарался приосаниться, когда появилась мама и изрекла трагически:
— Стучат... в потолок стучат.

— Ну и пусть их, — отмахнулся папа, которому водка всегда придавала невероятную храбрость даже перед мамой.

— Они протестуют!

— Потому что завидуют. Где им понять нашу широкую душу, наши бескрайние степи и наше веселье.

— Вот именно, — поддакнул Забулдыга — а ну-ка я эту тарелочку об стенку кокну. Необходимо установить — с каким именно стуком бьется ихняя посуда. Свою-то изучил досконально.

— Опять стучат, — уж совсем гробовым голосом возвестила мама, снова появляясь в дверях, — не только в пол, стены и потолок, но и в дверь. Я уверена — это полиция. Шур. Заберут вас всех в участок. Тзетс олл.

— А мы их тоже к столу пригласим.

— И накачаем. Знай наших.

Вместо полиции — в комнату ворвалась толстая, усатая суперинтендентша, голося, что все жильцы проснулись, требуют, наконец, тишины и покоя.

Ее немедленно усадили за стол и поднесли такую объемистую чарочку, что она развеселилась и стала еще громче других петь «Вольга, Вольга, Стенка Разин», вращать глазами и пристукивать по столу кулачищем, а по полу ножищами. Мама схватила Петьку за руку и попыталась утащить от «этой Вальпургиевой ночи и при том вакханалии», но не тут то было. Петька не сводил красных глаз с лихого грузина Башкидзе, который семенил ногами, вывернутыми внутрь носками — откалывая лезгинку и с силой бросая изо рта столовые ножи.

— Эх, душа мой, — приговаривал он, — если бы мнэ настоящие острые кинжалы, а не эти тупые паршивые ножики — весь кавиор бы на куски изрэзал.

Как и когда разошлись, Петька не помнит. Он проснулся уже утром, с усилием поднял голову.

— Позор. Стыд. Не только сами перепились, но даже ребенка не пощадили. Нет, уйду. Уйду, куда глаза глядят. Шур. И это он называет весельем!

— Во всяком случае — было веселее, чем на твоем коктейле, — прохрипел папа, похожий на старую бабу в чалме из мокрого полотенца.

— И он, несчастный, смеет еще сравнивать! — воскликнула мама, поднимая руки со щеткой и тряпкой к потолку. — Петя, если ты еще не окончательно подпал под влияние твоего беспутного отца, — скажи, — можно ли сравнивать мой изысканный коктейл-парти с этим грубым разгулом?

— Нельзя, — выдавил Петька, — тогда было уж слишком скучно...

— Аха — торжествующие вставил отец, лихо сдвигая чалму на затылок.

— Но зато вчера уж слишком весело, — мрачно присовокупил сын, за что еще раз получил от мамы

прозвище «дурачка, который старается угодить и нашим и вашим», а от папы «неисправимого дипломата».

И хотя Петька знал, что он прав, как всегда, но спорить не стал. Бог с ними совсем, со взрослыми. От них лучше подальше...

ВОТ ТАК ЗАКОН...

Дождавшись почтальона и выхватив у него добычу, Алена начала по своему обыкновению небрежно вскрывать конверты — чем попало, вкривь и вкось, причем попало и маркам. Впрочем, с ними — с марками — она обращалась не так жестоко: все-таки можно их дать знакомым коллекционерам.

Когда Алексей вошел в дом, усталый и раздраженный после рабочего дня, Алена встретила его целым градом новостей — Васятины переехали в Санта Барбара, Семеновы уехали в Европу, а у Сони проблема — худеть для других или полнеть для себя.

— Постой, постой, — перебил Алексей, — где письмо Васятиных?

Алена, порывшись в корреспонденции, передала мужу письмо, уже порядочно помятое.

— Вот оно, — торжествующе заявила она, — как видишь, в целости и сохранности.

— Именно этого не вижу — целый угол оторван. А где конверт?

— Вероятно, выбросила. К чему он?

— А к тому, что на нем их новый адрес был. И теперь я не смогу ответить...

— Культурные люди обыкновенно пишут свой адрес и на письме. Да, да. На первой странице наверху, слева или справа, уж не помню, но это все равно. И они пишут, что там теплее, чем здесь, и...

Алексей воззрился на жену сурово и спросил не без язвительной усмешки: — Разреши спросить тебя, кому именно они пишут?

— Как кому? Нам. То есть, обращаются к тебе, но это совершенно безразлично. И, кроме того, я-то, несчастная, думала, что у тебя от меня нет секретов... как и у меня от тебя.

— Дело не в том, — начал Алексей, — а...

— Кстати, в газете интересная статья, — сделала Алена попытку прервать его «нотацию», — вот здесь, посмотри.

— Ничего не вижу... Вижу кофейные пятна и еще какие-то другие, неизвестного происхождения. Ты же знаешь, до чего я не люблю читать газету после тебя — скомканную, смятую, с надписями, что надо купить... Кошмар...

— Поду-маешь, велика беда... И, вообще, я не понимаю, — обиженно начала Алена, но он продолжал неумолимо: — И, кроме всего прочего, я хочу раз и навсегда довести до твоего сведения, что по американским законам вскрытие чужих писем карается весьма строго, вплоть до тюрьмы...

— По американски-им?

— Да, и, во всяком случае, по калифорнийскому, то есть нашему, закону.

— Тюрьмо-ой?

— Да. Минимум, — прибавил он, стараясь ее запугать.

— Ну, что-ж, — вдруг заявила она, беззаботно смеясь и думая, что он шутит и выдумывает. — Я слышала, что в здешних тюрьмах совсем недурно живется. Не плохая еда. Разные развлечения. Лекции. Это было бы даже отдыхом после каторжной домашней работы.

— Мне сейчас не до шуток. Я в последний раз прошу тебя, нет — требую никогда не вскрывать писем, адресованных мне.

— Пожалуйста, сколько угодно, — дрожащим от обиды голосом сказала Алена вслух, но про себя подумала с ужасом — откуда же найти терпение ждать

целый день, пока он вернется, и только смотреть на таинственные конверты и догадываться об их содержании?

— Если даже ты не сочиняешь и такой закон есть, я хотела бы выяснить, какой процент жен его соблюдает, — начала она рассуждать вслух, — и откуда берется столько тюрем, чтобы всех их там разместить.

— Ну, довольно об этом. Надеюсь, тебе все ясно.

Ясно или неясно — но с этой минуты уютная Аленина жизнь превратилась в пытку. Каждый день, после прихода почтальона, она приступала к тщательной сортировке писем. Свои, как и всегда, молниеносно вытаскивала из кое-как надорванных конвертов; а, вместо того, чтобы так же нетерпеливо поступать с корреспонденцией мужа — складывала ее в аккуратную пачку и клала на его письменный стол. В центре.

После этого начинала похаживать вокруг стола, стараясь угадать содержание и считая не только часы, но и минуты до его возвращения.

Любопытство, которое она предпочитала называть любознательностью, буквально раздирало ее душу и выводило из себя.

Но, услышав шаги мужа, она сдерживалась, степенно здоровалась и ждала... ждала...

А он, бессердечный, как нарочно медленно переодевался, мылся, долго обедал и только потом приступал к чтению писем. Но как приступал!... Специальным ножичком вскрывал каждый конверт, осторожно, чтобы не повредить марок. Потом погружался в чтение про себя, что он прямо-таки как на зло проделывал медленно и с чувством. И лишь затем снисходительно делился новостями с изнемогающей женой.

Прострадав недели две, Алена решила, что так дальше продолжаться не может, и придумала план, который и осуществила на следующий день.

Как всегда, провозившись «целую вечность», Алексей пододвинул, наконец, к себе приготовленную пачку, устроился в кресле поудобнее и начал читать.

Алена ждала, затаив дыхание, и услышала — Пупи-

ковы просят тебя быть крестной матерью их очередного отпрыска — сказал Алексей, откладывая в сторону прочитанное письмо.

— Почему же они об этом пишут тебе, а не мне? — невинно осведомилась Алена.

Не чувствуя ловушки, Алексей ответил рассеянно — Да они не мне, а тебе.

— Следовательно, ты вскрыл письмо, адресованное мне? — уже ледяным тоном констатировала Алена и повторила с ударением — «мое письмо!»

— Ах, не все ли равно — мое, твое, — нетерпеливо отозвался муж, — и разве я мог предположить, что ты не распечатаешь своего, когда даже мои вскрывала.

— То было в прошлом, а ты провинился перед законом в настоящем. И я не могу так оставить... И, соблюдая местный закон, буду требовать, чтобы тебя посадили в тюрьму!

— Ну, уж и в тюрьму, — шутливо огрызнулся муж.

— А то и похуже... Сейчас я буду звонить своему адвокату, чтобы он снесся с твоим адвокатом и начал процесс.

— Да у нас и адвокатов нету. Слава Богу, не приходилось сутяжничать.

— А вот теперь увы, приходится. Правду сказать, мне тебя жалко. Но, с другой стороны, так интересно будет рассказывать — «мой муж арестант». И не беспокойся, я буду тебя навещать и что-нибудь вкусненькое приносить.

— Не придется. Потому что я, в свою очередь, на тебя жалобу подам, и тебя тоже посадят, только не в мужскую тюрьму, а в женскую...

Супруги уставились друг на друга. Потом, вдруг, начали смеяться так весело, как не смеялись давно.

КОРОЛЕВА НА МИНУТУ

Была и даже держалась упорно годами ежедневная телевизионная передача «Королева на день».

Теперь, слава Богу, кончилась. Эту дневную программу, предназначенную для домашних хозяек, критики ругали последними словами, как верх безвкусия и пошлости.

Но миллионы дом-хозяек по всей Америке отстаивали ее грудью и миллионами писем, требующих ее продолжения.

И они долго побеждали. Много лет.

Заключалась эта серия в том, что выбранные заранее кандидатки состязались друг перед другом в количестве — и качестве — несчастий, посыпавшихся на их головы.

Неописуемо развязный и веселенький конферансье интервьюировал их, кровожадно требуя подробного описания этих бедствий.

Нарядные дамы в зрительном зале волновались и сравнивали. Потом этот же конферансье с еще более приятной улыбкой предлагал зрительницам выбрать аплодисментами победительницу, то есть наибольшую страдалицу.

И выбранная «королева на день», облаченная в обшитую горностаем мантию, усаживалась на огромный трон и начинала пожинать плоды своей победы, лу-

чезарно улыбаясь и, очевидно, позабыв о своих несчастьях, иногда самых трагических.

А ее начинали осыпать подарками — рефрижераторами, стиральными и всякими другими машинами, особенно громко выкрикивая названия производящих их фирм.

«Это самый счастливый день моей жизни», — лепетала победительница, вытирая бумажным платком слезы уже не горя, а радости.

Потом ее сажали в позолоченный автомобиль и везли по городу во всякие рестораны, театры. И, конечно, ее фотография появлялась в газетах. Реклама, огласка... Publicity.

И когда потом порой вытаскивали опять на сцену бывших «королев», они вспоминали с упоением день, когда они, вдруг, делались центром внимания миллионов зрителей —верней, зрительниц, — и «чувствовали себя королевами».

— Ну, хорошо, — воскликнут некоторые из моих читателей, — ну, была такая программа и сплыла... Так в чем же дело?

А в том, что и автор этих строк тоже вдруг сделался «королевой», только не на той программе и не на день, а всего на минуту, и совсем в других условиях, и убедился на деле, какую роль играет «паблисити» — понятие, только приблизительно переводимое на русский язык, как «реклама» или «известность».

И произошло это событие так:

Несколько лет тому назад позвонила мне знакомая, невероятно энергичная американка, состоящая в дюжине разных организаций и комитетов.

— Здравствуйте, как поживаете? — осведомилась она.

Я уж хотела было уютно распространиться о своих разных недомоганиях, но вовремя сдержалась. Вспомнила, что здесь это не полагается. Ответила ей в тон — Спасибо. Прекрасню. А как вы?

— О, тоже прекрасно. Я звоню вот по какому делу: в конце недели сюда приезжает из Холливуда кинематографическое общество «Колумбия». Будут сни-

мать часть фильма в заарендованной вилле с парком на берегу к югу от Кармела. «Звезды» — Ким Новак, Фред Астер и Джек Лемон — приезжают послезавтра. Подготовительные работы уже начались. По финансовым соображениям, статисты, верней — статистки будут набираться здесь. И вот причина моего звонка: хотите поработать несколько дней, как «экстра», если, конечно, вас выберут?

— Я сейчас свободна от работы. Могла бы. Но я никогда, то есть...

— Значит — хотите. Так будьте завтра ровно в три часа дня в отеле Каза Мунрас. Знаете, где?

— Конечно, это один из лучших отелей. Но... я... — опять промямлила я.

— Подробности на месте. До свидания.

Положила трубку, жестокосердная. Не дала мне даже поохать, поахать и порасспросить.

Конечно, я видела этих знаменитых звезд — «старс» на экране, но никогда не встречала их. Кроме того, меня интересовала закулисная сторона кинематографического дела. Поэтому я появилась в отеле на час раньше назначенного.

В большом салоне около «свиминг пула» уже сидело много дам — пожилого и более возраста.

Моей непосредственной соседкой оказалась тоже пожилая дама, до того общительная, что в пять минут я узнала всю биографию и ее и всех звезд. Причем все это было приправлено пикантными сплетнями, почерпнутыми из соответствующих журнальчиков.

Одним словом, была она «в курсе дел». Назовем ее Милли.

Когда перед нами появился довольно молодой рыжеватый человек, она прошептала — «это сам директор Квайн» — и начала бешено аплодировать.

Улыбаясь радушно, этот директор приступил к разъяснениям, которые вызвали у собравшихся все, кроме улыбок; он сказал, что им сегодня надо выбрать группу — тут он слегка замялся — пожилых дам. Они будут изображать изысканных англичанок в

старческом... «то есть, я хотел сказать, в пансионе для пожилых дам в Англии».

« Пожилых»... скорбно простонала моя соседка слева.

«Но изысканных», утешая сама себя, сказала Милли.

— Плата — 25 долларов в день. Плюс завтраки и обеды, которые будут доставляться из этого отеля на виллу, где будут съемки.

Не успел он кончить свою речь, как по нашим рядам забегал очень молодой и крайне юркий человек. И не только просто забегал, но еще и тыкал пальцем в некоторых из нас. Тыкнул и в меня, но не в мою соседку, энтузиастку кино. Проскочил мимо.

— Что же это значит — выбрал он нас или наоборот? — озадаченно осведомилась я.

— Он выбрал вас. Меня — нет, потому что я, очевидно, слишком молодо выгляжу, — авторитетно заявила Милли.

Вдруг юркий человечек круто повернулся и ткнул пальцем и в нее.

— Ну да, — сказала она, расцветая улыбкой, — значит, им нужны и молодые. Я так и знала.

Так или иначе выбранные получили указание быть послезавтра утром точно — «шарп» — в 9 часов здесь. Нанятый автобус отвезет нас на виллу.

Утром, когда я пришла, автобус уже ждал. Дамы, побывавшие раньше на таких съемках, были с багажем, то есть с книжками, вязанием и так далее.

У еще неопытных в руках ничего не было, но на языке масса вопросов. Особенно — для чего все это?

— О, ясно. Наша работа будет состоять из длинных часов ожидания, ничегонеделания и из коротких минут «акшен» (действие) — сказала Милли, садясь рядом со мной, — я захватила и книжку и начатый свитер и альбом: буду просить у них автографы, деловито объяснила она.

Доехали. Вышли. Оказались в большом парке над обрывистым берегом океана.

Не успели оглянуться, как все кругом ожило. Замелькали знакомые по экрану знаменитости.

По короткой команде мы уселись на скамейках в саду. И началось ожидание.

Сначала было интересно смотреть. как устанавливали всякие аппараты, машины, как по мановению жезла появился перед нами павильон и в нем оркестр музыки.

Потом слегка надоело. И солнце начало палить немилосердно. Как на зло, выдался один из редких в наших местах очень жарких дней. Даже моя неугомонная Милли притихла и начала подремывать, слегка похрапывая.

— Уже приступили к съемкам. Скоро дойдет очередь и до нас, — шепнул голос за моей спиной.

Но оказалось — очень не скоро. Такой, казалось бы, простой эпизод — подъезжает автомобиль, из него выскакивает Ким Новак и бежит в нашу сторону — снимали и переснимали столько раз, что я и счет потеряла. И терпение тоже.

— Если такую простую сцену повторяют столько раз, то что же будет, когда начнется настоящее действие?

— Вот потому все и принесли свои работы, — ответила Милли.

Наконец, когда мы все скисли, устали от ничегонеделания, которое утомляет больше всякой работы, раздался сигнал.

— Внимание — сказал голос в мегафон, — вы все слушаете музыку. Улыбайтесь. Покачивайтесь в такт. — «Акшен!».

Мы, как могли, проделали все, что нам было сказано. Остались довольны — мы, не «начальство». Сценку повторили несколько раз.

А солнце жгло все сильнее. Даже ветерок с моря мало помогал. Так мы улыбались и покачивались до «ленча», который оказался и вкусным и обильным.

Мы расселись под вековыми деревьями парка группами, причем я обратила внимание на то, что наши

знаменитости завтракали отдельно от меньшей братии.

Немного ближе к нам устроились писатели, помощники директоров и помощники помощников.

Недалеко, но не вместе с простыми смертными — с нами — объединились исполнители маленьких ролей.

— Совсем, как по полочкам нас разложили, — сказала я.

Дама с большим веером, явно холливудского вида, криво усмехаясь, сказала: — Да, у нас в Холливуде всегда так. Никогда не смешиваются. Каждый знается только с равными по положению, по классу, так сказать.

— У нас в Америке классов нет, — резко оборвала ее полная рыжая женщина с черными усиками.

— Как бы не так. Вот мой муж работает в этой компании по технической части. На маленькой должности. И нас никогда не зовут к себе его коллеги, стоящие немного выше него. А наши знаменитости — о, те недоступны, недосягаемы.

— А я все-таки попрошу Фред Астера дать мне автограф, — решительно заявила Милли, размахивая своим альбомом.

— Попробуйте. Они сюда приехали, как на пикник. И родственников понавезли. Может быть, удастся.

— А правда, что все звезды получают по миллиону за каждую картину? — спросила дама с лицом, багровым от жары, волнения и зависти.

— Некоторые получают. А эти, во всяком случае, сотни тысяч.

— Так чего же они на мелочах экономят? Я слышала, из-за того, чтобы завтра сократить число «экстра» на несколько человек, целое совещание было. А ведь разница — грошевая, — слегка презрительно заявила та же дама, поигрывая пальцами по столу.

— Так уж у нас полагается, — сказала холливудская жительница, — однако, пора занимать места.

Мы расселись на скамейках, успевших раскалиться от зноя, и опять стали ждать.

Над нашими головами летал геликоптер. Директор

Квайн, примостившись в кресле наверху длинного крана, осматривал окрестности. Рабочие приводили в порядок дорогу к обрыву над океаном, на самом краю которого должны были завтра произойти всякие события.

В шесть часов нас распустили с коротким «завтра в 9 часов автобус будет вас ждать там же».

По дороге домой многие уже совсем откровенно спали, другие говорили о том, что три дамы получили нечто вроде легкого солнечного удара.

Умудренная опытом, я на следующий день появилась в соломенной шляпе с широчайшими полями. Упоминаю о ней потому, что она-то и сделала меня «королевой на минуту». И произошло это так: в ожидании нашей очереди, мы, статистки, стояли ленивыми группами, смотря на происходящее. Увидели, что рабочие притащили несколько плетеных кресел-кабинок, защищающих от солнца и ветра и сверху и со всех сторон. Такие когда-то я видела на некоторых морских пляжах в Европе.

В центре, вокруг одной кабинки, крутились директора и фотографы. «Звезды» сидели на стульях с их именами. Только Ким Новак, стоя около директора, что-то говорила ему. И, вдруг, я увидела, что она показала пальцем в мою сторону. И не только показала, но и поманила меня.

Пока я думала, что же мне делать, окружающие шептали: «Идите. Вас зовут. Идите же. Скорее!»

Медленно и неуверенно я пошла вперед, поправляя шляпу, сползающую на затылок.

А потом все произошло так быстро, что я не успела и опомниться. Я уже сидела в плетеной кабинке. Чьи-то быстрые руки уже пудрили мое лицо огромной пуховкой, другие, не менее услужливые, что-то проделывали с моими волосами, третьи поправляли складки платья...

И глаза всех присутствующих, в том числе и «звезд», были устремлены на меня.

Какие-то аппараты были направлены на меня сов-

сем вплотную. Сверху спускался геликоптер, с которого тоже делали снимки.

Мистер Квайн объяснил: — «Вы сидите, слушаете музыку. Вдруг, над вами, вплотную, лицо мисс Новак, которая ищет кого-то. Вы вздрагиваете от неожиданности, смотрите на нее. Она, убедившись, что ошиблась, идет искать дальше. А вы смотрите ей вслед, недоумевая, в чем дело. Понятно?

— Йес, йес, — хрипло выговорили мои сухие от волнения губы.

«Внимание!»

И, вдруг, над самым моим носом, какой-то человек громко щелкнул какими-то черными досками, прямо, как выстрелил.

Я вздрогнула.

«Остановить!» — скомандовал директор в сторону снимающих. Потом, смеясь, как и все окружающие, сказал мне: — Вы вздрогнули раньше, чем мисс Новак заглянула к вам, а вы должны, когда она... Понятно?

Я хотела объяснить, в чем дело, но воздержалась. Помотала головой. Затем, расхрабрившись, спросила, нельзя ли мне не только вздрогнуть, но и воскликнуть «Ах».

— Ни в коем случае! — «Акшен!»

Опять щелканье черными досками, которое на этот раз меня не испугало. И сразу же лицо Ким наклонилось ко мне, всматриваясь. Очевидно, я проделала все, что мне полагалось, удовлетворительно, потому что директор сказал — довольно — и общее внимание перескочило на кого-то другого.

И из «королевы на минуту» я опять стала заурядной, никого больше не интересующей «экстра».

При первой возможности я спросила холливудскую даму с веером, почему мне не позволили ахнуть. Она засмеялась. — Если бы вам позволили сказать даже «ах!», — то вы бы из простой «экстра» превратились в актрису, и вам полагалась бы значительно большая оплата.

Добродушная, вечно что-то жующая толстуха осве-

домилась шутливо — Ну, как себя чувствует новая звезда?

— И почему Ким Новак выбрала именно вас? — вызывающе спросила вчерашняя элегантная дама.

Кто-то посоветовал мне не пропустить премьеры фильма через несколько месяцев, чтобы «полюбоваться на себя».

Но громкий голос неугомонной Милли покрыл все остальные: — Не спешите гордиться. Я уверена, что этот эпизод вырежут, как и многие другие.

— Как так вырежут?

— А очень просто. Они накрутили на всякий случай уйму, а оставят в результате только десятую часть.

«А, может быть, и не вырежут», подумала я, но не сказала, чтобы не раздражать «не выделенных».

Через два дня нас, статисток, уволили. Роздали чеки, распрощались коротко.

Прошло месяцев восемь. Я уже стала забывать об этом эпизоде, как вдруг получила письмо от знакомых, плывущих в Европу. «Вечером на пароходе показали нам новый фильм «Нотириус Лянд Леди» — «Квартирохозяйка с дурной славой» (в моем неуклюжем переводе) — «и, вдруг, больше, чем в натуральную величину, ваше лицо. Поздравляем!»

Значит — не вырезали. Конечно, мы с мужем поехали в Сан Франциско на премьеру длинного фильма, чтобы посмотреть коротенькую сцену, сами понимаете, какую именно. А потом, когда фильм появился и здесь и везде — посыпались телефонные звонки и письма.

Я оказалась подобием знаменитости только потому, что меня случайно, по капризу «звезды», засняли на минуту в фильме.

В школе, где я тогда преподавала, студенты встретили меня возгласами «поздравляем!» Даже почтальон наш восхищенно заявил, что видел меня в кино. Одним словом — сенсация.

И все это повторилось, когда фильм стали показывать по телевидению. Хотя я давно заметила, что здесь любят всякое «паблисити», но не думала, что даже та-

кое ничтожное явление может вызвать столько прямо-таки детского любопытства и внимания.

На этом моя кинематографическая карьера кончилась. Но теперь я по опыту знаю — если даже через несколько лет опять всплывет на поверхность этот фильм и в нем проплывет мое лицо, то раздастся опять новый взрыв ахов и охов.

Забавно — но факт.

ДЕСЕРТ

— А на десерт вам будет предложено нечто совсем особенное, — торжественно провозгласил хозяин.

— Каштаны со сливками? — Вареники с вишнями?

— Нет, лучше!

— Неужели Гурьевская каша?

— Лучше, еще лучше. Нечто редкое.

— Не томите. Говорите.

Шеи гостей выжидательно вытянулись.

— На десерт я вам прочту только-что вышедший роман моей жены. Да, да, она у меня клад. Не только прекрасный кулинар, но и писатель.

— О-о-о, — пронеслось по столу.

Хозяин куда-то нырнул и вынырнул не один, а с толстой книгой, обернутой в цветистую бумагу, на которой было старательно выведено «Всепожирающая страсть» — крупно и мелко: «роман Аллы Прутиковой», в 4 частях, с прологом, эпилогом, предисловием и послесловием.

Писательница вскочила, взмахнула руками и простонала:

— Дмитрий, не надо — таким голосом, как женщины иногда говорят «не надо», подразумевая «надо, надо».

Поняв, что ее протест понят мужем правильно, она убежала в спальню.

Ее лучшая подруга Маришка вскочила также. — А

я пойду на кухню, помою посуду. Нельзя же милым хозяевам оставлять горы грязных тарелок.

— Позвольте, а роман?

— Я оставлю дверь открытой, буду тоже слушать.

— Убежала-таки, — завистливо вздохнули остальные и постарались устроиться более горизонтально.

Чтение началось. Было в романе много о любви, страсти, об алых розах. Героиню звали Вероникой, а ее поклонника князь Анатолий.

И хотя бездонные глаза ее сияли, а в углах алого рта залегла тайна, — вероломный князь попал в сети знойной цыганки Груши, умевшей так страстно петь «тусса-тусса-тууса, мэ комам чачо», что хотя князь и не понимал, что это значило, — но все-таки не устоял.

В довершение всех бед, посыпавшихся на гостей, хозяин не читал, а, что называется, бубнил... Кое-где слышались уже звуки, жутко напоминающие храп, но он продолжал:

«Ресницы ее трепетали как крылья бабочки. Вся поза ее грациозной фигуры напоминала умирающего лебедя».

«Как Вы прекрасны — прошептал граф Валериан, подходя к ней, — он не стоит Ваших слез. Я вызову его на дуэль».

Хозяин поднял глаза от книги, увидел, что многих гостей уже в комнате не было. Зато из кухни слышалась оживленная возня, плеск воды, стук посуды.

Оставшиеся слушатели крепко спали. Хозяин встал, потянулся и пошел в спальню к жене.

Прижимая платок к смеющемуся рту, она спросила: — Ну, как ты думаешь — все уже перемыли? — Да, кажется теперь пол скребут.

Тихо смеясь и держась за руки, как довольные удавшейся проказой школьники, они подкрались к двери кухни.

— Послушайте, найдите же где-нибудь хоть по углам подгоревшие кастрюли. Я предпочитаю их скрести, чем слушать эту ахинею.

— Нет, все вычищено. Все. Увы, надо возвращаться и слушать.

— Ни за что! Давайте, испортим кран и будем его чинить.

— Позвольте — а пол в коридоре? Надо же и его. Давайте швабру.

Алла распахнула дверь. Глаза работающих с ужасом уставились на все еще смеющуюся писательницу.

— Боже, она все слышала! О-о-о... — пронеслось трагическим стоном между гостей, в данную минуту кухонных энтузиастов, — и смеется!...

— Простите. Это чисто нервное. Неужели никто, никто из вас не понял и не оценил?

— Ннн-ет. Мы не потому. — Отчего же? В нем масса достоинств, — послышалось нерешительно со всех сторон.

Одна только Маришка бесстрашно заявила:

— Ты меня прости, но я должна сказать правду — это форменная, бездарная, претенциозная чепуха.

Хозяйка приблизилась к ней, взмахнула рукой... Неужели, ударит? — вскрикнул кто-то. Но Алла крепко обняла подругу, звонко чмокнула ее в щеку.

— Молодец, Маришка. Ты только одна оказалась искренной.

— Видите, друзья мои, — сказал весело хозяин, не без удовольствия оглядывая блестевшую чистотой кухню, — мы с Аллой не очень любим мыть посуду. Вот мы и придумали эту махинацию. Благодарим за добровольную помощь.

— То есть — как так выдумали? Позвольте! А роман?

— Написан уже давно, даже известной в свое время писательницей, и имел успех у части публики. Вот мы и решили вас разыграть. Ха-ха-ха!

— Хе, хе-хе, вот оно в чем дело...

— Чем так нас подводить — попросили бы посуду помыть — мы бы с удовольствием.

— Знаем мы это удовольствие... А теперь поработали на славу. Спасибо вам. Спасибо!

Гости спустили засученные рукава, подколотые платья и кисловато распрощались.

Открывая окна, чтобы проветрить столовую, Алла обнаружила в углу дивана прикурнувшую старушку Ижицкую.

— Ах, — сказала та, протирая заспанные глаза, — я, кажется, вздремнула. Но, прелесть моя, я в восторге, прямо в восторге от вашего романа. Кто бы мог думать? Но я не слышала конца. О, дайте, дайте мне его с собой почитать, насладиться на досуге. Я же должна знать — чем все кончилось. Я не засну, пока не узнаю — вернулся ли этот ветренник Анатолий к Веронике, или коварная интриганка Груша его погубила.

— Но это не мой роман. Я пошутила...

— Не ваш? Очень, очень жаль. Но вы мне его все равно дайте, потому что он мне, действительно, очень понравился...

ХАРАКТЕРЕЦ

— Как вы думаете, — спросил Петр Петрович, достигают ли своей цели анкеты, которыми так любят заниматься американцы?

— Я думаю, до известной степени, — начала я, предвкушая возможность поговорить. Но он сурово прервал меня.

— А вот я думаю, что нет. Не буду голословен. Недавно я прочел в ихней газете ответы на вопрос — что именно в женщинах разных национальностей им особенно нравится.

Уж не помню в точности — кому и за что отдавали спрашиваемые пальму первенства. Одним за ножки, другим за ручки, третьим еще за какие-то части тела. Я, конечно, поинтересовался, что же им в русских женщинах нравится. Дошел, прочел и глазам не поверил.

Он сделал эффектную паузу.

— Попробуйте отгадать, — прибавил он, — впрочем, не напрягайтесь, все равно не отгадаете. Так вот, им, оказывается, чрезвычайно нравится... характер русской женщины. Ха-ха-ха! Как, когда, где успели они разобраться в таком сложном вопросе — неизвестно. Но факт налицо — утверждают с апломбом. А я вот, сам русский, сестер, теток разных степеней имел предостаточно. Кроме того, был уже три раза женат на русских. Казалось бы, мог быть экспертом

по этому вопросу, а, между тем, если бы меня спросили, ответил бы моментально, что все русские женщины до того разные, что подводить их под, так сказать один знаменатель никак не приходится. Ну, никак.

— Начнем с того, что слово «характер» к нашим соотечественницам не подходит. Я бы сказал, что у них не характер, а характерец.

Если вы разбираетесь в тонкостях языка нашего, то это огромная разница.

— Судя по вашему тону, вы собираетесь нас всех ругать! — вскричала я, готовая разразиться гневной репликой, но он перекричал меня.

— Во-первых, о присутствующих не говорят, хотя, впрочем, у вас тоже характерец...

— А у вас его вообще нет.

— Не будем спорить, да еще, переходя сразу, по нашей милой привычке, на личности.

— Но вы первый начали.

— Хорошо. Согласен. Только дайте мне развить мою мысль.

— Но с условием, что вы потом мне тоже дадите высказаться.

— Превосходно. Отлично. Так вот — у каждой из моих жен был характерец, не похожий на других. Но чтобы можно было хоть про одну из них сказать, что ее характер один из лучших в мире — Боже упаси!

Первая моя жена была из ряда хронических жертв. Судя по ее уверениям, она пожертвовала собой, выйдя за меня замуж, и потом занималась самопожертвованием каждую секунду нашей бурной совместной жизни. Столько было, оказывается, князей и графов, и, притом, богатейших, добивавшихся чести и счастья получить ее руку и сердце, что я им и счет потерял. Впрочем, она сама каждый раз тоже называла разную цифру, всегда значительную.

Так как ее попреки сопровождались ломанием рук, скорбным поджиманием губ и слезами, то я благоразумно молчал. Только раз не выдержал и заорал: «Так какого же черта ты за меня замуж вышла?!» — «По-

жалела тебя», — отвечает сквозь слезы. До того, видите ли, пожалела, что сама же первая мне предложение сделала. «Вижу, — говорит, — мучается человек, не может слов найти от смущения, любви, ужаса перед моим «нет»... и вот теперь эта мещанская жизнь, лишения»...

«Тогда давай разойдемся. Я не хочу губить твою жизнь».

«Нет, — отвечает, — пропадешь ты без меня. Жалко».

Бывало, стоит в кухне, стругает лук и причитает: «Разве это жизнь? Где красота, тонкие, красивые переживания»... — А уж когда дело до штопания моих носков дойдет — что она делала отвратительно, — то на лице ее был сплошной, горький укор: «Боже мой, для того ли я родилась, чтобы тянуть эту нудную, скучную жизнь»...

Потащишься с ней в кино и сам не рад. Смотрит на экран, затаив дыхание, переживает, а выйдем — снова начинает скулить: «Какая непроходимая пошлость. Вам, конечно, с вашей грубой душой только такие низменные развлечения нравятся. Но мне... О-о, отчего у меня такая бездна жалости к человеку, который меня не понимает».

Она потом за моего приятеля замуж вышла, когда я сбежал. Накануне их свадьбы я ему сердечное соболезнование высказал. Обиделся, чуть не с кулаками на меня бросился. Но довольно скоро, когда она его доконала своей жалостью, он мне в жилет плакался. Я его утешал, когда было время. Но было его мало.

Я опять женился. На этот раз на «книжной» женщине.

Читала, понимаете ли, запоем дни и ночи. Интересовало ли ее хозяйство — не знаю, ей было не до него. Утром встану — она уже читает, сварганю для нас обоих завтрак, уйду на работу.

Вернусь — читает. Кругом не прибрано. Стулья-то она один на другой поставила, но обратно расставить не успела. Где там...

Лежит на диване с книгой. С папироской в зубах.

С мутной поволокой в очах. Попробовал я с ней о прочитанном поговорить, не вышло. Отделалась мычанием нечленораздельным. Я даже думаю, она, как и знаменитый Гоголевский герой, только процессом чтения интересовалась, скорей в следующую книжку уткнуться спешила; где уж там успеть переварить прочитанное. Да. А когда ее все-таки вытащишь к знакомым — сам не рад. На платьи пуговиц не хватает, на голове каждый волосок своей особой жизнью живет. Я ей намекнул на все эти недочеты, а она так презрительно: «Зато я начитаннее их всех». И при первой возможности опять бух на диван.

В третий раз жена мне попалась веселая, общительная, компанейская, кокетливая. Загулять любила даже черезчур. И сама не прочь выпить, и других заставляла: «пей до дна, пей до дна».

Цыганские романсы пела. Голоса и слуха было по малости, но темперамента хоть отбавляй. Поет в нос, ноздри раздувает страстно, глазами вращает, кокетничает со всеми.

«Черррные очи и беэ-элая грудь доброму молодцу спа-ать не дают» — завывает знойно.

Ну, собутыльники, конечно, рады, подхватывают хором: «эх, распошел»... и думают, что совсем, как настоящие цыгане, поют.

Соседи кругом жалуются, хозяйка с квартиры гонит, а ей все нипочем. «Очи черные, очи жгучие и преэкрасные»... «гарри, гари ма-ая звэзда». Не знаю, как звезда, а я с ней прогорел и чуть не спился. Потом, когда развелись мы, я со многими женщинами дружен был. И у каждой был опять-таки свой характерец. Много было хороших, очень хороших. Но у каждой свои надломы, изломы. Нет, что бы там ни говорили, а русские женщины утомительны. Уж слишком беспокойны. Сами мечутся и окружающих с толку сбивают. И если я опять женюсь, то...

— На иностранке, — подсказала я.

Он заерзал на стуле, помолчал...

— Нет, это не так. Нет, не так. Я, видите ли, кажется, нашел, наконец, свой идеал. Она русская, но опять-

таки своеобразная, ни на кого не похожая. Изящная, женственная, мечтательная. Она жаждет опереться на сильного, мужественного, властного. Как птичка во время бури или лиана вокруг могучего дуба.

— Дуб — это вы?

— Да, по ее словам.

— И вы ей верите?

— А то как же? Всякому лестно. Прежние жены помыкали мной, пытались доказать, что я их мизинца не стою, а эта считает могучей опорой. Орлом. Львом...

Он самодовольно приосанился, выпячивая довольно-таки тщедушную грудь.

Мне даже как-то жалко его стало, неизвестно почему. Но обида за критику нашего брата, вернее — сестры — превозмогла.

— Лесть — сказала я, — верное оружие. Люди склонны даже самую грубую лесть за звонкую монету принимать. Берегитесь. Такая «беспомощная» может в типичную мать-командиршу обратиться. Вы сами не заметите, как под башмачком окажетесь.

— Нет, она совсем не такая. Совсем. Впрочем, мы отклонились от темы. Я ведь хотел сказать, — где там иностранцу разобраться в характере русской женщины, когда даже русские мужчины в нем еще не разобрались.

Он начал прощаться, чтобы последнее слово осталось за ним. Но именно этого я не в силах была допустить.

— Однако, когда вы, мужчины, растерялись, потеряли головы, очутившись в эмиграции, — женщины, все, все русские женщины, даже раньше ничего не умевшие, ни к чему не подготовленные, сразу оказались на высоте, сразу...

Эти последние слова я уже прокричала ему вслед, когда он спускался с лестницы.

Но я не дооценила его. Он неожиданно опять оказался около двери, ловко вставил ногу в оставшуюся щель и проговорил: — Напрасно вы, право, так волнуетесь и обижаетесь. Я ведь о наших русских женщи-

нах самого высокого мнения и доказал это троекратно. И считаю, что неуловимое, неподдающееся определениям очарование имеется в каждой, почти в каждой из вас.

— И на этом спасибо, — сказала я, стараясь захлопнуть дверь с риском отхватить часть его ступни.

Но он оказался сильнее и решительнее.

— Но характер у каждой — свой. И не характер, а, именно, характерец.

И прежде, чем я опомнилась, он исчез. Прямо, как сквозь землю провалился. И последнее слово за собой оставил.

ДВЕ СТАРУХИ

По виду картина уютная и обыденная: две старухи сидят около большого бассейна для плавания, «пасут» маленьких детей, барахтающихся в воде, и мирно беседуют.

Но, на самом деле, старухи совсем разные и они не мирно разговаривают, а спорят, и, при этом, горячо о чем-то — во всяком случае для них — важном и значительном.

Бабушка в своем «уж слишком старушечьем» темном платьи, по мнению Анны Петровны, держится степенно, с оттенком превосходства, потому что она опекает собственных внучат, а Анна Петровна чужих.

А та, громко-говорливая подвижная, облеченная в куцое, яркое подобие купального костюма, которое она называет «модным быкини», и, вообще, по ее выражению, «вполне современная», старается сбить бабушку с ее позиции хранительницы домашнего очага.

Их оживленный спор часто прерывается попытками призвать к порядку разбушевавшихся ребят.

Увы, ни кроткие мольбы бабушки, ни гневные окрики ее собеседницы никаких результатов не достигают, если, конечно, не считать, что брызги холодной воды, которыми их обдают шалуны, все-таки действуют охлаждающе.

— Ну и хулиганы — говорит Анна Петровна, — разложить бы да выпороть их всех как следует.

— Что вы, милочка, — с ужасом протестует бабушка и даже всплескивает руками, — разве можно? Мы ни-ког-да даже не шлепаем их.

— Зато они сами вон как дерутся... Смотреть страшно!

— Это они только сегодня. Очевидно, влияние других детей, — сконфуженно шепчет бабушка, — дома я с ними поговорю по-хорошему.

— Вот именно — вернетесь домой не отдыхать, а дальше с ними возиться и вообще со всей семьей ладить, утихомиривать да еще и улыбаться насильно, чтобы не подумали, что обижены. Ну и жизнь вы себе устроили на старости лет... — беспощадно прерывает Анна Петровна, — и, что бы вы там ни говорили, никогда не поверю, что так прекрасно все у вас идет.

Бабушка не может удержаться от вздоха. — Иногда муж Лидочки резковат со мной... — начинает она, но сейчас же испуганно прибавляет, — но это только потому, что он устает очень, а так вообще он прекрасный человек. И... и... вообще я не хочу об этом говорить.

— Понимаю. Не хотите сор из избы выносить, — прерывает ее Анна Петровна и вдруг начинает смеяться.

— О чем это вы? — спрашивает бабушка, готовая обидеться.

— Да ничего, ничего... Я только подумала — мы с вами как раз этим-то и занимаемся — сор ихний выносим, и нам за это еще и платят.

— Мне никто ничего не платит. Я ведь для своих это делаю. И я счастлива, что полезна им. Лидочка говорит — необходима. Даже мой зять, то есть, я хотела сказать, и мой зять тоже говорит — «мы оба работаем, бабушка только одна и поддерживает священный огонь в семейном очаге».

— Ясное дело: даровая кухарка около плиты выгодней, чем платная, и то, если ее найдешь, — прозаически говорит неугомонная Анна Петровна, — и что ни говорите, а я свою жизнь лучше устроила. Отработала свои часы, денежки получила и сама себе гос-

пожа. Что хочу, то и делаю. А захочу — и ничего не делаю. Свободна, как ветер.

— Ну, а по вечерам ведь иногда тоскливо одной в чужой комнате сидеть?

— Почему сидеть? В кино пойдешь, или для наших благотворительных вечеров и балов пирожков напечешь... Или к знакомым милым людям забежишь, поболтаешь... Какая уж там скука или тоска, — что-то уж слишком весело отвечает Анна Петровна, поворачивается на спину и начинает смеяться: — Чтобы загореть ровно, со всех сторон, приходится вертеться, как шашлык на вертеле. А вам, верно, жарко в вашем платьи? Вы бы в купальный костюм переоделись...

— Нет, дочка говорит — в мои годы... — начинает бабушка, но опять Анна Петровна ее прерывает:

— Какие такие ваши годы, наши годы? Здесь, в Америке, нет старух. Все молоды, пока ноги носят. И баста. А у вас, бабушка, трудная жизнь была, как я вижу.

— Да, нелегкая. Совсем молоденькой замуж вышла. И почти сразу в эмиграции очутилась. Муж покойный работал выше сил, особенно когда Лидочка родилась. Я за всякую работу хваталась. И вот удалось Лидочку вырастить и за хорошего человека замуж выдать... Потом и ее детей няньчить начала. Так и не заметила, как жизнь пронеслась и старость пришла...

— Хорошо, что дочка хоть сознает, что вы своей жизнью для нее пожертвовали.

— О да, она всегда это подчеркивает. Когда дом купили, лучшую комнату, говорит, тебе.

— А как же вы говорили, что около кухни в малюсенькой комнате живете?

— Это только потому, что я сама так захотела. Много ли мне, старухе, нужно? Да и времени нет там сидеть. И Лидочка и зять ведь работают и учатся, бедненькие, а я одна дома с детками.

— Учатся все еще?

— Да, зять мой уже Эм Э добился, теперь на Пи Эч Ди пошел. А Лидочка старается его догнать, но пока только Би Э.

— Понимаю... — начинает Анна Петровна, но машет руками, — только всюду и слышишь — все учатся без конца... Про буквы ваши тоже понимаю, да не совсем.

— Би Э — это значит бакалавр, Эм Э — магистр, а Пи Эч Ди — доктор, — важно объясняет бабушка.

— И чего они все кругом за буквами гоняются, — рассуждает Анна Петровна, — все учатся... А как нахватают этих букв и до самого верха долезут, — пора уже в отставку выходить.

— Зато знания у них будут.

— Ну, знаете — знаний с собой тоже в могилу не возьмешь, как и денег, — философствует Анна Петровна. Потом ее все еще моложавое лицо расплывается в лукавую улыбку.

— А ведь я тоже буквы заработала. Отгадайте. В Германии я была А Эф, по-русски это Дэ Эр. Ну?

— Постойте, постойте. Дайте подумать... Ну, да... Конечно! По-немецки это «Ауфварте фрау», а по-русски — домработница, — догадывается лингвистка бабушка.

— Верно. Во Франции я была Эф Эм, в Австрии — Бэ, а теперь в Америке, — Ха-Ха.

— Ну, это ясно: «Фам де Менаж», «Бединерин», и «Хауз Хелп».

Из бассейна раздаются вопли, крики.

— Уж окончательно расхулиганились, — говорит Анна Петровна, — сейчас весь «свининг» пул разнесут.

— Вот как вы «свиминг пул» окрестили, — улыбается бабушка.

— А то как же? Такой и есть. Вон вода какая стала мутная. Ясно — все, прости Господи, в одну и ту же воду лезут, и чистые и грязные и всякие. Смотреть противно!

— Нет, почему же? Ее меняют И, кроме того, пилюлями очищают.

— Вот именно, пилюлями да порошками. Иные домхозяйки и окон-то в домах не открывают. Все «пшшш», «пшшш»... из бутылочек прыскают. А разве чистый воздух этим заменишь?

Бабушка опять беспокойно смотрит на «свининг» пул, откуда теперь слышатся душераздирающие во-пли и даже рев.

— Пойти, угомонить, — нерешительно говорит она; встает, кряхтя, подходит к бассейну и умоляюще зовет: «Манечка, Нусенька, Игрюньчик, пора домой. Ну, пожалуйста».

Мнется на месте, потом возвращается, вздыхает: —
— Не понимаю, что с ними...

— Говорю вам, пороть их надо... как сидоровых коз, не иначе. А по-русски ваши внуки, как я вижу, тоже по малости говорят?

— Да, хотя я с ними всегда только по-русски... И на ночь только русские сказки им читаю... Говорили хорошо, но как в школу начали ходить...

— Знаю. Везде одинаково. Я ведь все больше у своих, русских, работаю. Дети от своих отходят, к чужим стремятся, а родители уж слишком наоборот. Как куда приедут — сейчас же за заборчиком очутятся.

— За каким таким заборчиком? — недоумевает бабушка.

— Своими русскими кучками держутся, хотя между собой грызутся, а с иностранцами — по малости.

Не слушая ее, бабушка снова беспомощно озирается на внучат. — Надо их из воды вытащить. Простудятся, — шепчет она.

— Не суетитесь. Проголодаются — вылезут, — утешает Анна Петровна.

— И Лидочка беспокоиться будет...

— Ах, да что вы, в самом деле, кудахчете? Вот и выходит, что я права. Вам надо обо всех беспокоиться, весь день беспрерывно. Говорю вам — пора для себя пожить. Отдохнуть.

— Нет, я именно в этом вижу цель моей жизни. И напрасно вы думаете, что у меня для себя времени нет. Есть, есть. Вот приготовлю обед, посуду помою. Лидочка читает, зять отдыхает. Тогда в доме тишина... Вот и я отдохнуть могу.

— Значит, все на цыпочках должны ходить? Эх, ба-

бушка, вся-то ваша жизнь на цыпочках. Не то, что моя. Свободная, самостоятельная.

— Каждому свое, — примирительно говорит бабушка.

Снова встает, подходит к бассейну, зовет внуков и опять возвращается на место, беспомощно шепча — Что же мне делать? Простудятся...

— Ну, хорошо. Я вам помогу, — вдруг заявляет Анна Петровна, роясь в своем объемистом ридикюле.

— Но как... как?...

— А вот как!

Из ридикюля появляется огромный оранжевый леденец на палке.

Анна Петровна машет этим чудовищем высоко в воздухе и кричит пронзительно-громко на варварской смеси двух языков:

— Хей, хей, чильдрен, кто первый прибежит, тот получит «лолипоп»!

Бабушка продолжает недоумевать только секунду... не больше. И видит, — перегоняя и отталкивая друг друга, все дети, — и чужие и, о ужас, свои, — мчатся к «призу»... Кто-то свалился, кто-то отстал, и все орут благим матом.

И уже оранжевый лолипоп во рту бабушкиного благовоспитанного Игрюньчика. Он лижет этот «ужасный леденец», победоносно оглядывая соревнователей.

Бабушка быстро накидывает на своих сорванцов халаты и полотенца и тащит их домой.

Анна Петровна пробует протестовать, видя, как ее питомцы снова бросаются в воду, потом машет рукой: — Будьте любезны, простужайтесь. Мне-то что... — Она снова подставляет свое все еще крепкое тело под лучи заходящего солнца. Смотрит вслед бабушке, удаляющейся «прямо, как наседка с цыплятами», по направлению к дому.

И непонятное ей самой чувство зависти все больше охватывает ее свободолюбивую душу....

ЗА КУРИЦУ

(Почти политический рассказ)

— Ну-с, теперь немного о политике, — сказал хозяин дома Иван Петрович после обильного ужина с такой же водочкой.

— Ну вот, — недовольно протянула его жена, — значит, опять спорить и оскорблять друг друга.

— Почему же?... Можно спокойно и логично... Ну, кто за какого кандидата?

— Я, конечно, за МакКарти, и никаких гвоздей, — прокричал ломающимся голосом Петя.

— Ясно... Воевать не хочется, — язвительно перебил его Семен Семенович.

— А вот я за Никсона... потому что...

Но его в свою очередь перебила Наташа, невеста Пети:

— Вам легко воинственным быть, вас-то, старика, уже призвать не могут...

— Во-первых, — я еще далеко не старик, а, во-вторых, я просил бы меня не прерывать. Да, я за Никсона, потому что он будет бороться с инфляцией.

— А я за Рокфеллера... Он так хорошо выглядит, — сказала Анна.

— Ну, уж тогда Реган, вот кто душка и хорошо говорит, — уж совсем мечтательно высказала свое мнение ее приятельница Зинаида.

— Женская логика, — улыбаясь снисходительно, сказал Иван Петрович, — Сандро, а вы еще не высказались.

— А? Что? Я за Хамфрея, потому что он за Джонсона.

— Чудак-человек. Не Хамфрей надо говорить, а Гамфри, — вмешался Николай Иванович, — Губерт Горацио Гамфри.

— Договорились! — вступил в спор Алексей Петрович, — а вот я ни за одного из кандидатов. Помоему, ни один из них не годится в президенты. И я сейчас докажу — почему...

— Господа, умоляю вас, говорите тише, тревожно зашептал всего всегда боящийся Степан Архипович, — а то соседи подслушают...

— Ты, батенька, уж слишком себя принижаешь. Все чего-то опасаешься. Да соседи и не поймут, — мы же по-русски говорим.

— А если бы и поняли, так что же? — вызывающе присоединился Петя, — в свободной стране все могут громко выражать свое мнение...

— Только подумать — о ком вы все спорите — о большом человеке, который, страшно вымолвить, президентом будет. Самым важным человеком в мире. А вы так непочтительно...

— Вы газеты, что-ли, не читаете? Их карикатуристы, репортеры и писатели и не такими словами кроют... А мы...

— Все-таки надо бы потише, — уж совсем упавшим голосом сказал Степан Архипович, наскоро попрощался и убежал домой.

— Ну, кажется, теперь все высказались. Подсчитаем голоса, — шутливо сказал хозяин дома.

— Нет, не все. А бабушка? Надо и ее спросить — за кого она, — сказала Анна и притащила из кухни старушку, которая была не только бабушкой, но и прабабушкой. Несмотря на то, что она плохо видела и еще хуже слышала, она умудрялась и стряпать на всю семью и вообще делать почти всю домашнюю работу.

— Ну-с, выслушаем и старшее поколение. Говорите — кто ваш фаворит? — спросил Иван Петрович, взглядом приглашая всех потешиться.

— Ясно кто— курица, вот кто, — раздался короткий ответ.

— Кто-о?.. Каак?.. Вот тебе и раз, — раздалось со всех сторон.

— Постойте, дайте ей высказаться, — перекричала всех Анна, — мы живем в свободной стране, все имеют право иметь свое мнение.

— Хорошо. Ну-ка, бабушка, объясняйтесь. О какой курице вы говорите?

— Ясно, о какой. Обыкновенной. Которая по зернышку... Как мы приехали сюда много лет тому назад, мы ее, миленькую, за 39 копеек фунт покупали, и теперь, хоть кругом инфляция, — все равно она ей не поддается, все еще 39 копеек фунт, а в дешевые дни и 29 стоит. Значит, только она, и борется против дороговизны...

— Прекрасно... Допустим... Но теперь нам не до кур, — прокричал Петя.

— Петя... Яйца курицу не учат, — остановила его Анна.

— Помните, Генрих Четвертый хотел, чтобы у каждого француза была по воскресеньям курица, — сказала Зинаида, — а вот у нас здесь, хочешь не хочешь, приходится есть ее чуть ли ни каждый день.

— Вот я потому за нее, — радостно прошамкала старушка, — и каждый раз ее совсем по-разному приготовить можно... И не узнаешь... То отваришь ее, бульон целебный чего стоит, то с грибками, то просто подрумянишь в духовочке...

— Ну уж раз разговор зашел о курице, то могу и я присоединиться, — сказал Иван Петрович, — у нас, знаете ли, денег куры не клюют.

— Я не знала, что у тебя так много денег, — подозрительно осведомилась Анна.

— У меня их нету, но и кур тоже нету, — ответил он, — оттого и клевать их некому, ха-ха-ха...

— Плоско. Не смешно.

— А если от обеда осталась, то можно на ужин холодной подать, с салатом, с малосольными огурчиками, — продолжала мечтательным речитативом бабушка.

Хозяин отвел жену в сторону. — Вот придумала — бабушку спрашивать. Вместо серьезного политическо го диспута — фарс получился, — отчитал он ее сердито. — Прямо курам на смех.

— А вот еще есть выражение — мокрая курица, — неожиданно вспомнил Семен.

— И как миленькая стоила раньше 39 копеек, а в дешевые дни 29 — так и теперь. Крепко держится. Спасает бедных. А вы говорите... — ворчливо сказала бабушка и начала убирать со стола остатки пиршества.

— Попали мы теперь, как кур во щи, ее больше не остановишь, — с досадой провозгласил Иван, подкрепляясь домашней наливкой бабушкиного производства.

— Не во щи, а в ощип, — поправила его Зинаида.
— А все-таки я за Регана.

— А я за Хамфрея.

— Голосуйте за МаркКарти.

— Нет, за Никсона.

— Это из-за его кухонного разговора в Москве?

— Не говорите о кухне, а то бабушка опять о курочке начнет.

— А то под белым соусом, с рисом... тоже хорошо и питательно, — откликнулась старуха, громыхая кастрюлями...

В ОТСТАВКЕ

Быстро мчится время и катастрофически быстро увеличивается число лиц, которые ушли или которых ушли в отставку — по возрасту.

К этому явлению далеко не все «жертвы» относятся одинаково. Одни вращают глазами, бьют себя в грудь и стонут и вслух и про себя:

— Чем же и как же я теперь жить-то буду... пропал... конец...

Другие, напротив, бодро и даже молодцевато возражают:

— Не конец, а начало. Наконец-то, наконец я сам себе хозяин. Буду читать, писать, предаваться своим «хобби», то есть, говоря по-русски, — любимым страстишкам...

— На какие такие деньги? — вопрошают пессимисты, — уж не на нашу ли, с позволения сказать, пенсию?

— Не беспокойтесь. Не только. Вот мы с женой, например, кое-что подкопили; да и люди мы скромные. Много ли человеку нужно, собственно говоря? Помните, еще Конфуций сказал: «для счастья нужно иметь немного риса и руку, чтобы подпереть ею думающую голову».

— Ваш Конфуций до Рождества Христова жил, когда не было еще таких соблазнов, как теперь... Нет, что бы там ни говорили, а рано нас «уходят» в оставку,

поработал бы я еще годиков пять, отложил бы еще, эх...

— Вы мне напоминаете одну старушку. 90 лет ей стукнуло, а она все копит. Я ей: «Пора бы вам тратить, жить, ни в чем себе не отказывая». А она мне возмущенно: «Что вы, я ведь на старость откладываю». И завещание еще не составила. Говорит — боится: дурной признак.

— Ну, что же, я тоже еще не собрался.

— Бессмертных-то людей нет, друг мой. Впрочем, давайте перейдем на более бодрые темы. Вы тоже, как и мы, собираетесь теперь попутешествовать?

— Нет, слишком дорого и сложно. И раз деньги трачу на отели и мотели и на проезд — то надо их амортизировать: с утра до ночи по музеям бегать. Нет уж, увольте.

— Ну, а гулять вы любите?

— Нет, слишком утомительно.

— Будете встречаться с друзьями?

— Очень им нужны старые хрычи! Сразу забудут.

— Есть же среди них и сверстники. Вот и получится клуб отставных.

— Да они все в бридж играют. Не понимаю — грызутся во время игры прямо как... как...

— Не старайтесь подобрать сравнение. Сам знаю. И ничего страшного в этом нет. Поспорят, а потом дружно и весело закусят... И время пролетело незаметно. — А в гольф играть вы любите?

— Терпеть не могу. Ходишь, как дурак. Шарик гоняешь. Бессмысленно и дорого.

— Ну, коллекционировать начните. Мало ли что люди собирают —почтовые марки, монеты...

— Я, знаете ли, люблю коллекционировать доллары. Вот что.

— Как та старушка — на старость?

— Во-первых, я еще не так стар, а, во-вторых, вдруг до ста лет доживу. Что тогда?

— Да-с... Ну, а как насчет рисования?

— А никак. Понятия не имею. Да и поздно начинать.

— А вот президент Айзенхауер начал рисовать уже не молодым человеком и после отставки, в преклонном возрасте, увлекался этим. И покупатели находятся на его картины.

— Потому что он был президентом. А я таковым быть не собираюсь. Не кандидат. И рисовать начать тоже не намерен. Ищите другого дедушку Мозеса.

— Вот еще некоторые увлекаются рыбной ловлей...

— Ну и пусть увлекаются. Пробовал удить. Ничего не вышло. Придешь домой с пустыми руками — соседи издеваются; а, паче чаяния, притащишь улов, жена ругается, — опять, дескать, чистить, возиться. Весь дом пропахнет. Ты, говорит, лучше бы цветы и овощи разводил.

— А что, в самом деле, почему бы нет?

— А потому, что над цветами ахать и улиток и гусениц давить — отказываюсь. Как человек практический, начал было овощи сажать. Результат получился плачевнейший. Редиски всякие корявые вылезли, да еще изъеденные. Подсчитал и выяснил, что в магазине купить в пять раз дешевле и в сто раз спокойнее и лучше. Бросил, конечно.

— Ну-с, хорошо-с. Значит — отставить и это. Знаете что — вы бы купаться начали, плавать. Смотрите, какое море перед нами чудесное. Я люблю и на солнышке полежать и поплавать.

— Это в вашем-то возрасте?! Вы, знаете, неисправимый эксцентрик, вот что. Давно пора бы бросить, Это вас до добра не доведет.

— А вы неисправимый скептик и пессимист. Вам в самом деле трудная старость предстоит. Будете бессмысленно слоняться из угла в угол. Ну, а в шахматы вы хоть играете?

— Уж слишком замысловатая игра. У меня и без нее мозги набекрень.

— А вот многие фотографией занимаются. И снимки друг другу показывают. Да еще цветные.

— Ну и пусть. Я лично, знаете ли, предпочитаю своими прежними любоваться. И гостей заставляю. Пришли — так и пусть терпят и восхищаются, хотя

бы из вежливости. А свои теперешние развешивать — сам первый повесишься, сравнивая. Там прелестная жена — молодая, сияющая, и рядом я — бравый, молодцеватый, стройный — а теперь что?..

— Ну, хорошо. Следовательно, остается чтение. Библиотеки здесь прекрасные и бесплатные.

— Читать целый день — одуреешь окончательно. Даже газету не всегда одолеваю.

— Да, чтение — искусство, к которому, оказывается, надо было готовиться с детства.

— Ну, вы тоже скажете!

— Нет, я серьезно. Я говорю о настоящем чтении. Запоем, отдаваясь прочитанному всецело... забыв обо всем на свете...

— Так я не умею. Да и зрение пошаливает. Я скорей интересуюсь кулинарией. Я поесть люблю и что-то новенькое сварганить. Но и тут ничего не выходит. Жена привыкла быть в кухне царицей, не подпускает к кастрюлькам.

— Ну, вы можете посуду мыть...

— Какой там! Жена и этого не любит. Не мужское, говорит, дело. Сама справлюсь. Уходи! А куда я уйду? Нет... Пропал... Конец...

— Ничего подобного. Начало!

КОГДА ЖЕ НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ?

Когда-то давно, давно мы мечтали: вот кончится война, вернутся с фронта наши отцы, братья, мужья, женихи — тогда-то и начнется жизнь.

Но мечты были прерваны революцией...

Стали опять думать о времени — когда кончится она и начнется жизнь. Но события закрутили нас в таком бешеном водовороте, что мы не только не смели мечтать, но и дышать. И все чаще слышалось кругом — «когда же кончится эта мука, которая называется жизнью?».

Когда многие из нас пришли к убеждению — «все кончено», тогда вдруг началась для нас жизнь опять в новых для нас странах.

Мы, в числе многих других, попали после второй войны в Америку, страну не только молодую, но и молодящуюся.

Не успев отдышаться, бросились искать работу, устраиваться, одним словом — начинать жить.

Но и это оказалось не так просто. Главным образом — из-за возраста. И если паспорт можно было здесь и не показывать «работодателям», то лицо было налицо.

Отказывали... Впрочем, не везде... Переустроившись несколько раз, наконец пристроились, поустраивались.

А устроившись, начали вслух выражать свои мне-

ния, часто диаметрально противоположные, как полагается.

Одни стонали — «о такой ли жизни мы мечтали?»...

Другие, наоборот, восклицали — «вот именно — о такой жизни мы мечтали!»

Так или иначе — мы смогли не только работать, но и отдыхать. И во время отдыха размышлять о том и о сем и, конечно, о своем возрасте, который вдруг стал возрастать с неимоверной быстротой и напоминать о себе все чаще и чаще.

И чем благополучнее и однообразнее становилась жизнь, тем быстрее проносилось время...

«Как же так? — протестовала душа, — мы еще не успели пожить, только начали, и, вдруг, конец. Не может быть»...

Тут оказалась очень кстати популярная тогда книга «Жизнь начинается в сорок лет». И за ней скоро еще более обнадеживающая — «Жизнь начинается в 50 лет». Автор обеих книг, В. Питкин, очевидно знал, что книги его будут иметь успех, угодят и своим содержанием и заглавием.

Впрочем, еще до него Достоевский писал: «Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо; люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро 50 лет, а я все еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю».

Пронеслись еще годы и десятилетия, и «старшим» показалось, что эти книги устарели. Опять захотелось нового продления сроков.

И что же? Появился Мартин Ниланд, провозгласивший — «жизнь начинается в 70 лет», и подкрепивший цитатами это неожиданное и для многих из нас весьма отрадное заявление.

Годы, естественно, несутся дальше. Им-то что... Но, судя по предыдущему опыту, можно думать, что в недалеком будущем еще какой-нибудь оптимист смельчак объявит — «Жизнь начинается в сто лет».

А пока, чтобы сделать свою статью убедительной и основанной не только на чахлой надежде, я привожу

высказывания по этому вопросу целого ряда знаменитых людей.

Итак — слушайте, «старшие», слушайте!...

Вот — Виктор Гюго сказал: «50 лет — это молодость старости». Приятно, хотя и слегка туманно.

Дальше — доктор А. Карелл: «Только когда наши физические достижения начинают блекнуть, начинается развитие нашего разума».

Он объясняет — до 20 лет — вступление, дальше, до сорока, — борьба за существование. Люди слишком поглощены заработком, воспитанием детей, — чтобы жить духовной жизнью. Только потом, дескать, начинается последний, самый ценный, период, для которого все предыдущие и были нам даны.

А вот вам слова философа Сенеки: «Некоторые стары уже в 40 лет, другие молоды в 80».

Колье: «Возраст — это состояние нашего разума. Годы роли не играют».

Старая китайская поговорка гласит: «Самые высокие вершины гор покрыты снегом».

И опять Гюго: «Мудрый человек не состарится никогда».

Дорсей: «Чем больше мы расходуем свои мозги, тем больше мы их имеем».

Не помню, кто сказал: «Возраст — это как мы себя чувствуем, а не наши годы».

И еще кто-то: «Догорающий огонь прекраснее, чем только разгорающийся».

А поэт Броунинг, уже в весьма почтенном возрасте, бодро восклицает: «Лучшее еще впереди».

И Микель Анжело и Тициан работали до глубокой старости не менее блистательно, чем в молодые годы.

Престарелый Кант, страдая от тяжелой болезни, пишет свою самую значительную книгу.

Страдивариус, в 93-хлетнем возрасте, делает лучшую из своих знаменитых ста одиннадцати скрипок.

Гете закончил «Фауста» в 80 лет.

Вагнер создал «Парсифаля» в 69 лет.

Когда Бернард Шоу праздновал свой 93-й день рождения, один из его сверстников сказал: «Вот мы с ва-

ми начинаем приближаться к старости». На что писатель бодро ответил: «Да, к этому, знаете ли, привыкаешь. Впрочем, я жду своего столетнего юбилея, чтобы начать жизнь».

«Да, — скажут иные скептики, — вы все про больших людей. Для них законы не писаны. Ну, а как насчет нас, — обыкновенных?»

Хорошо, пожалуйста...

Моя приятельница, которая в свои 80 лет еще работает, читает и пишет, как и раньше, сказала со вздохом: «Вернуть бы мне мою молодость. Тогда бы я показала»... — «О каком именно возрасте ты вздыхаешь?» — полюбопытствовала я. — А она: «Если бы мне опять 70 лет было»... Не зная даже о существовании американца Оливер Вендел Холмса, она в точности повторила его слова.

Как видите, молодость — понятие относительное и растяжимое. Даже очень.

А вот еще об обыкновенных людях.

Один тиролец вспоминает приезд кайзера в их городок. Он даже уверяет, что дал ему несколько дельных советов. «Впрочем, — добавил он, — мне пока только 105 лет. У нас здесь есть мужчины более возмужалые и опытные».

Там же, в Австрии, юркие репортеры разыскали другого «пожилого» человека — 106 лет от роду. Восхищенные газетчики описали, как он за обедом пил с ними наравне вино, был бодр и остроумен. Только жаловался на фотографов, которые «имеют обыкновение изображать меня старше, чем я есть»,

Он же рассказал, что однажды, во время войны, заведующая выдачей продовольственных карточек, решив, что в списке получателей ошибочно указан 1845 год, как год его рождения, переправила его на 1945. Он получил продовольствие для младенца, пришел в ярость и пошел объясняться лично. Посмотрев на него, заведующая моментально переменила карточку...

Один горец, весьма преклонного возраста, сказал: «Не только я, у нас все живут очень долго. Случаи

смерти необычны. Наши могильщики даже взбунтовались, потребовали назначения к нам постоянного врача и заявили, что с помощью доктора их доходы должны увеличиться».

А вот что сказал 93-хлетний Хартон; «Я утверждаю, что последние годы — самые счастливые во всей моей жизни. И я теперь ощущаю близость Бога — всегда»...

Надеюсь, эти цитаты подбодрят тех, «кого это касается», и тех, кого коснется в недалеком будущем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена 3.00 дол.